

ФРЭНСИС СКОТТ КЕЙ
ФИЦДЖЕРАЛДА

СКАЗКИ ВЕКА ДЖАЗА



ВСЕ НОВЕЛЛЫ
ФРЭНСИС СКОТТА КЕЙ
ФИЦДЖЕРАЛДА



ФИЦДЖЕРАЛДА

**Френсис Скотт Кэй Фицджеральд
Антон Борисович Руднев
Сказки века джаза (сборник)**

Издательский текст
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=16454162
Сказки века джаза: РИПОЛ классик; М.; 2015
ISBN 978-5-386-08385-4

Аннотация

«Сказки века джаза» – сборник Фрэнсиса Скотта Кея Фицджеральда, открывающий наиболее полное собрание малой прозы писателя. Впервые все опубликованные самим Фицджеральдом рассказы и очерки представлены в строгом хронологическом порядке, начиная с первых школьных и университетских публикаций и вплоть до начала работы над романом «Великий Гэтсби».

Для Фицджеральда первая половина 1920-х стала головокружительным временем раннего успеха: за четыре года он написал два романа, ставших бестселлерами, сатирическую пьесу, которая с треском провалилась, а также подготовил два больших сборника рассказов, один из которых впоследствии дал название целой эпохе в американской истории. Несмотря на то что вершиной творчества Фицджеральда традиционно считаются романы, именно рассказы принесли Фицджеральду устойчивую популярность и успех.

В качестве дополнений к составленным самим автором книгам рассказов в этот сборник включены новеллы и очерки, не вошедшие в авторские книги по разным причинам. Тексты Фицджеральда представлены в новых аутентичных переводах, звучащих в унисон с оригинальными текстами; подробный и актуальный комментарий к текстам, безусловно, послужит новому прочтению малой прозы американского классика.

Содержание

А не устарел ли Фицджеральд?	5
Вместо предисловия	8
Кто есть кто и как так вышло?	8
Проба пера	10
Тайна закладной Рэймонда	10
Рид, на замену!	16
Долг чести	18
Комната за зелеными ставнями	20
Санта-неудачник	23
Проповедник и боль	27
По следам герцога	31
Венец из призрачного лавра	34
Испытание	40
Так принято	44
Предосторожность – прежде всего!	48
Шпиль и горгулья	50
Тарквиний из Чепсайда	56
Чувства и мода на пудру	60
Кастальский ключ и последняя капля	70
Интерлюдия	77
«А я не послушал этого совета!»	77
Улыбочки	78
Плач	84
Эмансипированные и глубокомысленные	85
Прибрежный пират	86
Ледяной дворец	107
Голова и плечи	124
Конец ознакомительного фрагмента.	127

Фрэнсис Скотт Фицджеральд

Сказки века джаза

© Перевод, комментарии. Руднев Антон Борисович, 2015

© Издание на русском языке, перевод на русский язык, оформление.

ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2015



А не устарел ли Фицджеральд?

Телеграф и телефон, запреты на выдачу «смелых» книжек из библиотек, личные автомобили, короткие женские стрижки, «электрические ледники» и джаз... Эти детали характеризуют время; спустя сто лет после своего появления они уже кажутся смешными и наивными, ведь наша реальность состоит из скандалов в Интернете, в мгновение ока разносящем новости по всему миру, километровых автомобильных пробок на дорогах, публичных дискуссий о том, стоит ли женщине добровольно лишать себя груди, если генетика говорит, что в будущем у нее возможен рак? Никого уже не удивит холодильник, джаз давно стал предметом в музыкальной школе, а эти переводы впервые были опубликованы в Интернете. Скотт Фицджеральд был голосом давно ушедшего поколения двадцатых, и даже название этой эпохи американской истории – «эпоха джаза» – дал именно он (так был озаглавлен второй сборник его рассказов). И все же у Фицджеральда есть вполне живая группа «В контакте», за год выходит не меньше десятка новых изданий, и это говорит о том, что придуманные почти сто лет назад герои и истории по-прежнему нужны и интересны; Фицджеральд – явно не просто имя из нафталиновой «истории литературы».

Отношение к творчеству Фицджеральда в России и США различается лишь внешне: в России не могут вызвать особого интереса печати времени, характеризующие романы и рассказы писателя. Не было в России двадцатых ни «эпохи джаза», ни романтических миллионеров вроде Гэтсби; а были нэпманы, электрификация всей страны и бедность. У нас не было и «красных тридцатых», как не было и целой прослойки зажиточных коммунистов из среднего класса, не сталкивавшихся с воплощением этой теории на практике. Первые переводы Фицджеральда на русский появились лишь в 1960-х годах, хотя друг Фицджеральда, юморист Ринг Ларднер, еще в 1930-х удостоился в СССР отдельного сборника рассказов, а открытый Фицджеральдом талант – Эрнест Хемингуэй, в чьем багаже на тот момент самым весомым был героический роман, – в 1930-х годах фактически представлял в СССР всю современную американскую литературу. Впрочем, именно Хемингуэй стал косвенной причиной первого появления имени Фицджеральда в советской печати. Печально известное упоминание в рассказе «Снега Килиманджаро» было по неизвестным причинам сохранено в русском переводе рассказа, выполненном Г. Яррос и Н. Дарузес в 1937 году и опубликованном впервые в 9-м номере советского журнала «Знамя» за тот же год, – просто имя, без всяких комментариев. Видимо, уже в 1920-х годах в Советском Союзе популярный американский писатель был оценен по достоинству и сочтен «идеологически враждебным»: в его романах и рассказах не было ни слова сочувствия ни рабочему классу, ни его борьбе, а в «красных 1930-х» он уже не вписывался даже в общую американскую литературную тенденцию; в моде были глобальные стройки и немногословные герои, чувствовавшие себя как дома лишь на марше. Единственной войной для Фицджеральда была Первая мировая, и советских американистов привлечь ему было нечем.

С появлением первых переводов Скотта Фицджеральда в «романтических» советских шестидесятых совпала публикация знаменитых мемуаров Хемингуэя («Праздник, который всегда с тобой»), и Фицджеральда в России стали воспринимать сквозь призму очередного злого выпада престарелого, находившегося на грани самоубийства писателя: «...Его талант был ярким, как крылья бабочки...» Но в реальности права на такое снисходительное и покровительственное отношение к Фицджеральду Хемингуэй не имел. Слог Фицджеральда действительно производит впечатление легкости и воздушности, однако это давалось ему совсем нелегко; его работоспособность просто поражала, – за свою короткую жизнь Фицджеральд написал более 160 рассказов. Но благодаря не совсем точным мемуарам Хемингуэя Скотт Фицджеральд в России и до сих пор воспринимается как трагическая и вызывающая

жалость фигура, как писатель-неудачник, ярко начавший, но погибший в борьбе с алкоголем и нищетой. Последнее не совсем соответствует действительности. Алкоголь и связанная с ним беспорядочная жизнь действительно имели место, но также имели место и туберкулез, и громадная психологическая нагрузка, связанная с неизлечимой душевной болезнью жены Зельды; он написал однажды: «Зельда навсегда останется моим крестом...» – и это было именно так. А что касается нищеты, то состояния при жизни он действительно не нажил, но голливудские сценаристы, одним из которых он стал в последние три года своей жизни, и до сих пор зарабатывают столько, сколько писателям и не снилось. На дом, на содержание жены в самой лучшей клинике и обучение дочери в престижной женской школе «Вассар» ему вполне хватало. В реальности Скотт Фицджеральд умер от обширного инфаркта миокарда в разгар работы над романом, который впоследствии вышел под названием «Последний магнат»; эта книга могла бы стать его лучшим романом и даже в неоконченном виде считается сегодня одним из лучших романов о Голливуде.

Несмотря на огромный общий объем творческого наследия Фицджеральда, при оценке его творчества обычно рассматриваются лишь романы – четыре из них были переведены в СССР в 1960—1970-е годы, пятый был выпущен уже в России 1990-х. Рассказы Фицджеральда, составляющие львиную долю его литературного наследия, русскому читателю остались практически неизвестны, не считая небольшой подборки в тощем третьем томе единственного советского «Избранного». Разумеется, романы и сам писатель считал вершиной своего творчества, но не уделять внимания его короткой прозе несправедливо. Именно в рассказах можно, например, увидеть, как рождались ставшие великими темы и нюансы его творчества, – существует условный блок рассказов, относящихся к «Великому Гэтсби», есть и блок, связанный с романом «Ночь нежна». Большое количество полноценных, пусть и написанных специально для глянцевого журналов, рассказов сам писатель в своем «Гроссбухе» отнес к категории «ободраны и навсегда забыты» – лишь потому, что отдельные пассажи из этих историй переключались в романы, а перерабатывать эти вещи для включения их в сборники по определенным и не всегда связанным с творчеством причинам писатель не стал. Тем не менее и среди этих «сырых» текстов встречаются настоящие шедевры. В соответствии с практикой американского книжного бизнеса 1920—1930-х годов, сборники рассказов популярных авторов всегда выходили «прицепами» к романам спустя несколько месяцев после выпуска романа в свет; таким образом рассказы «подогревали» интерес и продажи романов. В такие сборники обычно включалось только лучшее – то, что было «достойно сохраниться под твердой обложкой». Проходных коммерческих рассказов в этих сборниках не было, – здесь лишь те вещи, которые автор желал сохранить «для будущих читателей и критиков».

При жизни Фицджеральда было издано четыре его романа; сборников рассказов, соответственно, было тоже четыре; в этих сборниках лишь примерно треть общего числа рассказов. Новеллистика Фицджеральда дает совершенно новое представление об эволюции творчества писателя – от излишнего многословия и детальности ранних текстов вплоть до лаконичности и яркости текстов тридцатых годов. При чтении романов эта стилевая динамика не так бросается в глаза, но в рассказах все выглядит предельно выпукло – и эта эволюция поражает!

Так чем же привлекают истории Скотта Фицджеральда сто лет спустя? Отчего голливудские звезды вроде Брэда Питта и Леонардо ДиКаприо не отвергают предложений сыграть героев, которым уже почти что век? Почему меняется музыка, но история остается неизменной? Кажется, секрет в данном случае прост, – Скотт Фицджеральд умел находить тончайшие нюансы человеческих взаимоотношений, а его уникальный стиль полон красок, полутонов и едва уловимых оттенков воздушной легкости. И пусть меняется окружающий мир, люди и их чувства не изменятся никогда.

А. Б. Руднев

Вместо предисловия

Кто есть кто и как так вышло?

История моей жизни представляет собой историю борьбы между непреодолимым желанием писать и целым комплексом мешавших этому обстоятельств.

Когда мне было двенадцать лет, я жил в Сент-Поле, учился в школе и без остановки сочинял: я писал в учебнике географии, в учебнике латыни, на полях сочинений, в тетрадках по грамматике и математике. Через два года на семейном совете было решено, что необходимо заставить меня взяться за учебу всерьез, для чего есть одно-единственное средство – отправить меня в школу-пансион. Это было ошибкой. Я бросил писать! Я научился играть в футбол, курить, собрался поступать в университет и стал заниматься всякими бесполезными вещами, не имеющими отношения к делу, которое составляет саму суть настоящей жизни и заключается, разумеется, в поисках надлежащего сочетания описания и диалога в рассказе.

В пансионе у меня появилась новая цель. Я посмотрел музыкальную комедию под названием «Квакерша», и с того самого дня на моем столе громоздились стопки либретто постановок Гильберта и Салливана, а также дюжины блокнотов с набросками дюжин новых музыкальных комедий.

Незадолго до окончания школы мне случайно попались забытые кем-то на пианино ноты нового мюзикла. Он назывался «Его величество султан», а на титульном листе было указано, что пьеса ставилась клубом «Треугольник» из Принстонского университета.

Для меня этого оказалось достаточно. С того самого дня вопрос выбора университета был окончательно решен: мой путь лежал в Принстон.

Весь первый год в университете я провел, сочиняя оперетту для клуба «Треугольник». Ради этого я забросил алгебру, тригонометрию, аналитическую геометрию и физкультуру. Но мой мюзикл был принят клубом «Треугольник»; весь знойный август я посвятил индивидуальным занятиям с репетиторами, благодаря чему мне все же удалось перейти на второй курс и сыграть роль хористки в этой постановке. Далее следует пробел. Меня подвело здоровье, и в один из декабрьских дней я покинул университет, чтобы провести остаток учебного года, восстанавливая силы на западе страны. Одно из последних воспоминаний перед отъездом – лежу с температурой на больничной койке и пишу текст песни для постановки «Треугольника» в новом сезоне...

Следующий учебный год (1916–1917) я провел в университете, но на этот раз я решил, что единственная стоящая вещь на свете – это поэзия. В голове моей зазвучали ритмы Суинберна и сущности Руперта Брука, а весну я провел, строя ночи напролет сонеты, баллады и рондо. Я где-то вычитал, что все великие поэты складывают свои самые великие стихи до того, как им исполнится двадцать один. У меня оставался всего лишь год; кроме того, надвигалась война. Пока меня не поглотила эта пучина, я должен был опубликовать сборник изумительных стихов!

Осень застала меня на военной базе сухопутных войск в Форт-Ливенуорт. Поэзию я забросил; теперь у меня была новая цель: я принялся писать нетленный роман. Каждый вечер, пряча блокнот под «Частными задачами сухопутных войск», я записывал, параграф за параграфом, слегка сжатую историю развития своей личности и своего воображения. Я подготовил наброски двадцати двух глав (из них четыре должны были быть в стихах), а две главы мне даже удалось завершить; затем меня застучали, и игра окончилась. Теперь я уже больше не мог сочинять в часы, отведенные для обучения.

Налицо было определенное затруднение. Жить мне оставалось три месяца – в те дни все офицеры сухопутных войск думали, что жить им осталось три месяца, – а я так и не оставил свой след в этом мире. Но столь всепоглощающему стремлению не могла помешать какая-то там война! Каждое воскресенье в час дня, по окончании очередной недели военной науки, я спешил в офицерский клуб – и там, в углу, среди клубов табачного дыма, болтовни и шуршания газет я за три месяца написал роман в сто двадцать тысяч слов. Я ничего не переписывал, для этого у меня не было времени. Как только я заканчивал очередную главу рукописи, я тут же отправлял ее в Принстон перепечатывать на машинке.

В то время я жил на исписанных карандашом страницах рукописи. Строевая подготовка, марш-броски и «Частные задачи сухопутных войск» представлялись мне зыбкими снами. Все мое существование сконцентрировалось в моей книге.

В часть я прибыл счастливым. Роман я написал, так что теперь можно было заняться и войной. Я позабыл о параграфах и пентаметрах, сравнениях и силлогизмах. У меня было звание первого лейтенанта, у меня был приказ отправиться за океан, и тут издатели написали мне, что они уже давно не получали столь оригинальной рукописи, как мой «Романтический эгоист», но издать ее они не смогут! Произведение было сырым, да еще и ничем не кончалось.

Через полгода после этого я прибыл в Нью-Йорк и обошел семь редакций городских газет, везде предлагая себя в качестве репортера. Мне только что исполнилось двадцать два, война окончилась, и днем я собирался выслеживать убийц, а по вечерам писать рассказы. Но газеты не нуждались в моих услугах! Ко мне отправляли мальчишек-посыльных с сообщением, что в моих услугах нет необходимости. Видимо, все принимали окончательное и бесповоротное решение о том, что я совершенно не годюсь на должность репортера, просто взглянув на мое имя на визитке.

Так что я устроился на должность копирайтера за девяносто долларов в месяц и принялся сочинять рекламные слоганы, помогавшие скоротать томительные часы в вагоне пригородного трамвая. А после работы я писал рассказы – с марта по июнь. Всего я написал девятнадцать штук; самый короткий был создан за полтора часа, самый длинный – за три дня. Редакции не хотели их покупать, никто не присылал мне даже отказов с критическим разбором. По всему периметру моей комнаты было пришпилено к стене сто двадцать два обезличенных отказа в приеме рукописей. Я писал сценарии фильмов, писал тексты песен. Я писал сложные планы рекламных компаний. Я писал стихи. Я писал юморески. В конце июня мне удалось пристроить один рассказ, и я получил за него тридцать долларов.

Четвертого июля, с чувством полнейшего отвращения к самому себе и всем редакторам на свете, я приехал в Сент-Пол и сообщил семье и друзьям, что уволился с работы и прибыл домой, чтобы писать роман. Все вежливо кивали, тут же переводили разговор на что-то другое и старались говорить со мной как можно более мягко. Но на этот раз я был уверен в том, что делаю. У меня в голове наконец-то был целый роман, и два жарких летних месяца подряд я сочинял, редактировал и сокращал. Пятнадцатого сентября я получил экспресс-почтой письмо о том, что роман «По эту сторону рая» принят издательством!

За следующие два месяца я написал восемь рассказов и продал в журналы девять. Девятый купил у меня тот самый журнал, который отверг его четыре месяца назад. Затем, в ноябре, я продал свой первый рассказ журналу «Сатердей ивнинг пост». К февралю они купили у меня уже полдюжины рассказов. Затем вышел в свет мой роман. Затем я женился. А теперь вот провожу время, раздумывая, как же это так все вышло.

Говоря словами бессмертного Юлия Цезаря: «Вот и все, и больше ничего».

Проба пера (1909–1917)



Тайна закладной Рэймонда

Джона Сайрела из «Ежедневных новостей Нью-Йорка» я впервые увидел у себя дома, – он стоял перед распахнутым окном и глазел на город. Было что-то около шести вечера, зажигались первые фонари. Вся 33-я улица выглядела сплошной линией ярко освещенных зданий. Он был невысок ростом, но благодаря прямоте осанки и гибкости движений его прекрасное сложение вполне можно было назвать атлетическим. При нашей первой встрече ему было двадцать три года, а он уже занимал должность репортера. В нем не было приторной красоты: лицо было чисто выбрито, а форма подбородка ясно указывала на сильный характер. Его глаза были карими.

Когда я вошел в комнату, он медленно повернулся и обратился ко мне, манерно растягивая слова:

– Мне кажется, я имею честь говорить с мистером Эганом, шефом полиции?

Я кивнул, и он продолжил:

– Мое имя Джон Сайрел, и – я буду говорить без обиняков – мне необходимо узнать все, что можно, об этом деле с закладной Рэймонда.

Я уже хотел было ему ответить, но он жестом попросил меня молчать.

– Несмотря на то что я работаю в штате «Ежедневных новостей», – продолжил он, – здесь я нахожусь не в качестве представителя газеты.

– Ну а я здесь нахожусь, – холодно перебил я, – не для того, чтобы рассказывать о внутренних делах полиции любому прохожему или репортеру. Джеймс, проводите джентльмена к выходу.

Сайрел молча развернулся, и вскоре я услышал его шаги в прихожей.

Но, как это будет видно из дальнейших событий, этой встрече не суждено было стать последней.

На следующее утро после того, как я познакомился с Джоном Сайрелом, я поехал к месту преступления, о котором шел наш разговор. В поезде я достал газету и прочитал отчет о преступлении и последовавшей за ним краже:

«СЕНСАЦИЯ!»

«Ужасное преступление в пригороде!»

«Что думает мэр по поводу разгула преступности?»

«Утром 1 июля в городском пригороде было совершено преступление и произошла серьезная кража. Убита мисс Рэймонд, а рядом с домом найдено тело слуги.

Мистер Рэймонд (проживающий на озере Сантука) в среду на рассвете был разбужен криком и двумя револьверными выстрелами, донесшимися из комнаты его жены. Он попытался открыть дверь, но она не открывалась. Он был практически уверен, что дверь была заперта изнутри, но неожиданно она распахнулась, и он увидел комнату, в которой все было перевернуто вверх дном. В центре комнаты на полу лежал револьвер, а на постели жены красовалось кровавое пятно, по форме напоминавшее отпечаток ладони. Жена исчезла, но при более внимательном осмотре комнаты под кроватью он обнаружил свою дочь, без признаков жизни. Окно было разбито в двух местах. На теле мисс Рэймонд была обнаружена пулевая рана, ее голова была страшно обезображена неким острым предметом.

У дома было найдено тело слуги с пулевым ранением в голову. Миссис Рэймонд до сих пор не обнаружена.

Все в комнате было перевернуто, а ящики бюро выдвинуты, словно убийца что-то разыскивал. Шеф полиции Эган в данный момент находится на месте преступления, и т. д.»

Когда я дошел до этого места, кондуктор объявил «Сантука!». Поезд остановился, я вышел из вагона и пошел к дому. На крыльце я встретил Грегсона, который считался у нас самым способным детективом. Он передал мне план дома и попросил на него взглянуть, не откладывая.

– Тело слуги нашли вот здесь, – показал он, – его звали Джон Стэндиш. Он служил здесь двенадцать лет и никогда ни в чем не был замечен. Недавно ему исполнилось тридцать два.

– Пулю, которой он был убит, не нашли? – спросил я.

– Нет, – ответил он, и продолжил: – Ну ладно, вы лучше идите и посмотрите сами. Кстати, тут ошивался один тип, который очень хотел взглянуть на тело. Когда я отказался разрешить ему войти в дом, он пошел туда, где застрелили слугу, и я видел, как он встал на колени и стал что-то искать в траве. Спустя несколько минут он встал и пошел к дереву. Затем подошел к дому и снова попросил показать ему тело. Я сказал, что он увидит его при условии, что тотчас же после этого отсюда уберется. Он согласился. Войдя в комнату, он снова встал на колени, заглянул под кровать и тщательно все осмотрел. Затем подошел к окну

и внимательно исследовал разбитое стекло. Наконец сказал, что полностью удовлетворен, и удалился к гостинице.

Исследовав комнату вдоль и поперек, я обнаружил, что для разгадки тайны я мог бы с таким же успехом все это время смотреть на мельничный жернов. Завершив расследование, я пошел в лабораторию к Грегсону.

– Полагаю, вы уже слышали о закладной? – спросил он, спускаясь со мной рядом по лестнице.

Я ответил отрицательно, и он рассказал мне, что из комнаты, в которой была убита мисс Рэймонд, исчезла весьма ценная закладная. В ночь перед убийством мистер Рэймонд положил закладную в ящик, откуда она и пропала.

На обратном пути в город я опять встретил Сайрела, и он дружелюбно поклонился мне в знак приветствия. Мне стало немного стыдно за то, что я так бесцеремонно выставил его из дома. Войдя в вагон, я обнаружил, что единственное свободное место находилось рядом с ним. Я сел и попросил прощения за свою позавчерашнюю грубость. Он и не думал обижаться на меня, и, поскольку больше говорить было не о чем, мы продолжили свой путь в молчании. Наконец я решил заговорить:

– Что вы думаете о деле?

– В данный момент я ничего о нем не думаю. У меня не было времени на обдумывание. Нисколько не обескураженный, я попробовал снова:

– Узнали что-нибудь новое?

Сайрел засунул руку в карман и продемонстрировал пулю. Я изучил ее.

– Где вы это нашли? – спросил я.

– Во дворе, – коротко ответил он.

Я снова откинулся на сиденье. К городу мы подъехали уже ночью. Первый день моего расследования нельзя было назвать удачным.

Следующий день был нисколько не успешнее предыдущего. Моего приятеля Сайрела в доме не было. В комнату к мистеру Рэймонду вошла горничная и, нисколько не стесняясь меня, заявила, что желает отказаться от места.

– Мистер Рэймонд, – сказала она, – ночью за окном я слышала подозрительный шум. Я вовсе не хочу уходить, но это действует на нервы!

Больше в тот день ничего не произошло, и домой я вернулся совершенно разбитым. На утро следующего дня меня разбудила горничная, которая принесла телеграмму. Открыв ее, я обнаружил, что она от Грегсона. «Поторопитесь, – прочитал я, – изумительные новости». Я поспешно оделся и первым же поездом приехал в Сантуку. На перроне меня уже поджидал Грегсон. Не успел я усесться в его маленький автомобиль, как он сразу же принялся рассказывать, что произошло:

– Ночью кто-то проник в дом! Вы, наверное, знаете, что мистер Рэймонд попросил меня переночевать в доме? Ну так вот, около часа ночи мне захотелось пить. Я пошел в холл, чтобы налить воды, и, выходя из комнаты (а я лег в комнате мисс Рэймонд), я услышал, что в комнате миссис Рэймонд кто-то ходит! Удивившись, что мистер Рэймонд не спит в такое время суток, я прошел в гостиную, чтобы узнать, в чем дело. Я открыл дверь комнаты миссис Рэймонд... Тело мисс Рэймонд лежало на диване. Возле него на коленях стоял человек. Лица его я не видел, но по фигуре смог точно определить, что это не мистер Рэймонд. Я продолжил наблюдение; он бесшумно встал, и я увидел, как он открыл бюро, что-то оттуда достал и сунул в карман. Развернувшись, он увидел меня, а я его: это был какой-то неизвестный мне молодой человек. Издав крик ярости, он бросился на меня, но я уклонился, поскольку у меня с собой не было оружия. Он схватил тяжелую индейскую дубинку и наотмашь ударил меня по голове. Я издал крик, который, должно быть, разбудил весь дом, – и больше я ничего не

помню, вплоть до того момента, когда очнулся и увидел склонившегося надо мной мистера Рэймонда.

– Как выглядел этот человек? – спросил я. – Вы узнали бы его, если бы встретились с ним еще раз?

– Думаю, нет, – ответил он. – Я видел его только в профиль.

– Единственное объяснение, которое я могу дать, заключается в том, – сказал я, – что убийца находился в комнате мисс Рэймонд, и, когда она зашла в комнату, он напал на нее, нанеся ей глубокие раны. Затем он прошел в комнату миссис Рэймонд и похитил ее, не забыв сперва застрелить мисс Рэймонд, сделавшую попытку приподняться. На улице ему встретился Стэндиш, который попытался его остановить и был за это убит.

Грегсон улыбнулся.

– Это решение неправдоподобно, – сказал он.

Около дома я увидел Джона Сайрела, который кивком отозвал меня в сторону.

– Пойдемте со мной, – сказал он, – и вы узнаете нечто, что может оказаться для вас полезным.

Извинившись перед Грегсоном, я пошел вслед за Сайрелом. Он начал говорить, как только мы скрылись в аллее:

– Давайте предположим, что убийца – или убийцы – благополучно сбежали из дома. Куда же они направятся? Естественно, им нужно скрыться, и как можно дальше. И куда же они пойдут? Недалеко отсюда есть только две железнодорожные станции, Сантука и Лиджвилль. Я установил, что Сантукой они не воспользовались. То же самое установил и Грегсон. Далее я предположил, что они направились к Лиджвиллю. Грегсон этого не сделал – заметьте, вот в чем разница! Прямая линия – кратчайшее расстояние между двумя точками. Я прошел по прямой отсюда до Лиджвилля. Поначалу мне не попалось ничего интересного. Но мили через две, в болотистой низине, я нашел следы. Там было всего три отпечатка, и я сделал слепки. Вот они. Как видите, этот след принадлежит женщине. Я сравнил его с ботинками миссис Рэймонд. Они совпадают. Остается еще пара. А вот они уже принадлежат мужчине.

Пулю, найденную мной на месте убийства Стэндиша, я сравнил с одним из оставшихся патронов в том револьвере, что был обнаружен в комнате миссис Рэймонд. Они идентичны. Из револьвера был сделан только один выстрел, и гильзу я нашел только одну, поэтому я сделал вывод, что стреляла из револьвера либо мисс, либо миссис Рэймонд. Я предпочитаю думать, что это была миссис Рэймонд, потому что именно она спаслась бегством.

Итак, подводя итоги и принимая во внимание, что у миссис Рэймонд должна была быть какая-то причина для того, чтобы попытаться убить Стэндиша, я прихожу к выводу, что ночью в пятницу Джон Стэндиш убил мисс Рэймонд через окно комнаты ее матери. Я также делаю вывод, что миссис Рэймонд, убедившись, что дочь мертва, выстрелила в Стэндиша через окно и убила его. Придя в ужас от содеянного, она спряталась за дверь, когда вошел мистер Рэймонд. А затем вышла из дома через черный ход. На улице она споткнулась о револьвер Стэндиша, подняла его и забрала с собой. Где-то по пути отсюда в Лиджвилль – либо случайно, либо по договоренности – она встретилась с тем, кто оставил эти следы, и пошла с ним на станцию, откуда они вместе и поехали на утреннем поезде в Чикаго. На станции мужчину не видели. Мне сказали, что билет покупала только женщина, из чего можно сделать вывод, что молодой человек с ней не поехал. А сейчас вы должны рассказать мне все, что поведал вам Грегсон!

– Как вы все это узнали? – в изумлении воскликнул я, а затем рассказал ему о ночном визите.

Он совсем не удивился и сказал:

– Я думаю, что юноша и есть наш приятель, оставивший следы. А теперь вам лучше взять револьвер и собрать все необходимое, если вы, конечно, хотите поехать со мной и отыскать этого молодого человека и миссис Рэймонд, которая, я думаю, сейчас находится с ним.

Ошеломленный от услышанного, я вернулся в город первым же поездом. Я купил пару новеньких «кольтов», потайной фонарь и две смены белья. Мы приехали в Лиджвилль и обнаружили, что молодой человек отбыл в Итаку на шестичасовом поезде. Добравшись до Итаки, мы обнаружили, что он пересел на поезд, который в тот момент находился на пол пути в Принстон, что в штате Нью-Джерси. Было уже пять утра, но мы взяли билет на скорый, рассчитывая перехватить его где-нибудь между Итакой и Принстоном. Какова же была наша досада, когда, нагнав пассажирский поезд, мы узнали, что он сошел в Индианосе и сейчас, скорее всего, уже в полной безопасности. Упав духом, мы взяли билет до Индианоса. В кассе нам сказали, что молодой человек в светло-сером костюме сел на автобус до отеля Рузвельта. Выйдя на улицу, мы нашли тот самый автобус, на котором он ехал, расспросили водителя, и он признался, что действительно отвез пассажиров в отель Рузвельта.

– Но, – сказал старик, – когда я остановился у отеля, парнишка просто испарился, и я так и не получил с него плату за проезд!

Сайрел тяжело вздохнул, – было ясно, что юношу мы потеряли. Мы взяли билеты на поезд до Нью-Йорка и телеграфировали мистеру Рэймонду, что приедем в понедельник. Ночью в воскресенье меня позвали к телефону; по голосу я узнал Сайрела. Он потребовал, чтобы я сейчас же мчался по адресу улица Каштановая, 534. Я столкнулся с ним у двери.

– Что, какие-нибудь новости? – спросил я.

– В Индианосе у меня есть агент, – ответил он, – мальчишка-араб, которому я плачу десять центов в день. Я поручил ему выследить женщину, и сегодня он прислал мне телеграмму (на этот случай я оставил ему деньги), в которой он пишет: «Приезжайте немедленно». Так что поехали!

И мы сели на поезд. Шмиди, юный араб, встретил нас на станции:

– Сэр, вот какой вещь. Вы сказал: «Ищи парень с таким шляпа», и я сказал найду. Ночь парнишка вышел с дома на Сосновой улице и дать кэбмэн десять доллар сразу. Я с минуту ждать, он выходить с женщина, и они ходить недалеко дом чуть подальше по улица, я показать вам место!

Мы пошли по улице вслед за Шмиди, пока не достигли дома, стоявшего на перекрестке. На первом этаже расположилась табачная лавка, но второй этаж явно сдавался внаем. В окне мелькнуло чье-то лицо, но, заметив нас, человек поспешно удалился в глубь комнаты. Сайрел достал из кармана фотокамерку.

– Это она! – воскликнул он и, крикнув нам, чтобы мы следовали за ним, рванул на себя небольшую боковую дверь.

Сверху донеслись голоса, шарканье подошв и хлопок закрывающейся двери.

– Вверх по лестнице! – крикнул Сайрел, и мы побежали за ним, перескакивая сразу через несколько ступенек.

На верхней площадке лестницы нас встретил молодой человек.

– По какому праву вы врываетесь в этот дом? – спросил он.

– По праву закона! – ответил Сайрел.

– Я не делал этого! – вспыхнул юноша. – Вот как все было. Агнесс Рэймонд любила меня, она не любила Стэндиша, и он ее застрелил; но Господь не дал ее убийце уйти от мщения. Хорошо, что его убила миссис Рэймонд, потому что иначе его кровь была бы на моих руках. Я вернулся, чтобы еще раз увидеть Агнесс перед тем, как ее похоронят. Кто-то вошел в комнату. Я его ударил. Я только что узнал, что миссис Рэймонд его убила.

– А я забыл о миссис Рэймонд! – сказал Сайрел. – Где же она?

– Она уже не в вашей власти! – сказал молодой человек.

Сайрел скользнул мимо него, Шмиди и я – за ним. Он распахнул дверь в комнату на верхней площадке, и мы ворвались в помещение.

На полу лежала женщина, и, едва коснувшись ее груди, я понял, что ей уже ни один врач не поможет.

– Она приняла яд, – сказал я.

Сайрел оглянулся – молодой человек исчез. Охваченные ужасом, мы остались наедине со смертью.

Рид, на замену!

«Стоять! Стоять! Стоять!» – гремел над полем лозунг болельщиков; утомленные игроки в красном медленно выбежали на свои места. На этот раз атака синих шла прямо по центру и увенчалась проходом семи ярдов. «Второй даун, три!» – выкрикнул судья, и вновь атака по центру. На этот раз они не выдержали натиска; огромный фулбек Хилтона опять прорвался сквозь линию красных и, раскидав всех таклов, шатаясь, направился к воротам Уоррентауна.

Крошечный квотербек Уоррентауна быстро выбежал вперед и, уклонившись от нападающих, бросился прямо под ноги фулбеку, повалив его на землю. Команды снова построились в линии, но Херст, правый такл красных, так и остался лежать на земле. Такла заменили, поставив вместо него правого хавбека, и капитан команды Берл убежал за боковую линию посоветоваться с тренерами.

– Кого поставим хавбеком, сэр? – спросил он главного тренера.

– Может, Рида? – ответил тренер, взглянув на одного из сидевших на куче соломы, служившей скамейкой запасных, и кивком подозвав его к себе. Светловолосый юноша, стягивая свитер, подбежал к тренеру.

– Слишком маленький, – сказал Берл, внимательно оглядев стоявшего перед ним.

– И все же больше некого, – ответил тренер.

Было заметно, что Рид волнуется; он переминался с ноги на ногу и теребил край своего свитера.

– Ладно, ничего не поделаешь, – сказал Берл. – Вперед, малыш! – И они выбежали на поле.

Команды быстро выстроились в линии, квотербек Хилтона дал сигнал разыгрывать «6-8-7-Джи». Игра велась между гардом и таклом, однако в этот момент из линии Уоррентауна выскочила грациозная фигура, так и не дав вступить в игру фулбеку, тяжело упавшему на землю. «Отлично сработал, Рид», – похвалил Берл. Рид побежал обратно на свое место, покраснев от похвалы, и присел в стойку в ожидании следующего дауна. Центр выполнил снеп квотербеку – тот, развернувшись, хотел дать пас хавбеку. Мяч выскользнул у него из рук, он почти поймал его, но было уже поздно. Рид проскользнул между тайт-эндом и таклом и выбил мяч. «Отлично, Рид», – крикнул Мрайдл, квотербек Уоррентауна, выбегая вперед и выкрикивая на бегу команду разыгрывать «48-10-Джи-37». Рядом с левым тайт-эндом стоял Рид, но пас был неточным, и квотербек не удержал мяч. Рид подобрал его на бегу и обежал левого тайт-энда. Игру остановили из-за фамбла, и вмешательство Рида оказалось напрасным, – ему пришлось снова вернуться на свое место; после того как он обошел тайт-энда, его свалил тяжелый удар синего фулбека. Однако ярд он все-таки отыграл. «Все равно молодец, Рид, – сказал квотербек, – это моя ошибка!» И опять снеп, но пас вновь неточный, и лайнмен Хилтона упал на мяч.

А затем началось уверенное движение по полю к очковой зоне Уоррентауна. Раз за разом Рид проскальзывал через линию Хилтона и блокировал раннера, не давая ему вступить в игру. Но команда Хилтона все равно медленно продвигалась к воротам Уоррентауна. Когда синие были уже на последней десятиярдовой зоне красных, их квотербек совершил единственную за всю игру ошибку. Он дал сигнал пасовать вперед. Мяч полетел фулбеку, который развернулся, чтобы бросить его правому хавбеку. Но едва мяч оторвался от руки, как Рид подпрыгнул и перехватил его. Он споткнулся, но тут же восстановил равновесие и бросился к воротам Хилтона, оставив позади себя длинную цепь игроков в красном и синем. От ближайшего соперника его отделяло пять ярдов, но к тому моменту, когда он пересек свою линию сорока пяти ярдов, это расстояние сократилось до трех. Он повернул голову

и огляделся. Его преследователь тяжело дышал, и Рид понял, что надо делать. Надо было попробовать увернуться. Как только соперник бросился на него всем телом, он резко отскочил, и соперник упал прямо за ним, промахнувшись всего лишь на какой-то фут.

Теперь добежать до линии ворот было уже несложно, – когда Рид бросил мяч на землю и, счастливый, упал рядом, он услышал новый лозунг болельщиков, отдававшийся эхом по всему стадиону: «Раз, два, три, четыре, пять – Рид, выходи опять!»

Долг чести

- Прэйл!
- Я.
- Мартен!
- Выбыл.
- Сандерсон!
- Я!
- Карлтон, сегодня в караул!
- Он в лазарете.
- Есть добровольцы в караул?
- Я, я! – громко выкрикнул Джек Сандерсон.
- Принято, – сказал капитан и продолжил перекличку по списку.

Ночь выдалась холодной. Джек и сам не понимал, как же так вышло. Накануне он получил легкое ранение в руку, и его китель украсился ярко-красным пятном в том месте, где его прошила шальная пуля. А шестой пост был далеко. Надо было пройти с холма, где стояла палатка генерала, вниз, к озеру. Он почувствовал, как на него накатывает слабость. Он очень устал, к тому же очень быстро стемнело.

Там его и нашли утром: он уснул после утомительного марша и последовавшей за ним битвы. Не считая легкой раны, с ним все было хорошо, а законы военного времени очень суровы. До конца своей жизни Джек помнил печальный голос своего капитана, объявившего страшный приказ.

Начальник лагеря Боулинг-Грин, 15 января 1863 года, Соединенные Штаты. За сон при исполнении обязанностей караульного на ответственном посту рядовой Джон Сандерсон настоящим приговаривается к расстрелу. Расстрелять на рассвете 16 января 1863 года. По приказу главнокомандующего Роберта И. Ли.

Джек никогда не забудет жуткую ночь и марш на рассвете. Ему завязали глаза платком и чуть отвели от стены, которая была выстроена на границе лагеря. Еще никогда жизнь не казалась столь желанной.

В своей палатке генерал Ли долго и тщательно обдумывал дело.

– Он же почти мальчишка, и из хорошей семьи. Но дисциплина есть дисциплина. С другой стороны, проступок наказанию не соответствует. Парень переутомился и к тому же ранен. Черт возьми, пусть его освободят, несмотря на мою репутацию! Сержант, передайте мой приказ: привести рядового Джона Сандерса.

– Слушаюсь, сэр! – отдав честь, ординарец покинул палатку.

Джека привели двое солдат, потому что он едва мог стоять на ногах, после того как чудом избежал смерти.

– Сэр, – сурово произнес генерал Ли, – благодарите вашу молодость за то, что вы отделаетесь выговором; но смотрите, если подобное повторится, на снисхождение не рассчитывайте.

– Генерал, – ответил Джек, заставив себя стать по стойке «смирно», – у Конфедеративных Штатов Америки никогда не будет повода сожалеть о том, что меня не расстреляли.

И Джека увели; он все еще дрожал, но был счастлив, вновь обретая жизнь.

Спустя шесть недель армия Ли стояла у Ченслорсвилля. Так далеко войска Конфедерации продвинулись благодаря успешной операции у Фредериксберга. Едва началась стрельба, к генералу Джексону подсказал курьер.

– Сэр, полковник Барроуз передает, что враг занял деревянный дом на опушке леса, откуда полностью просматриваются наши траншеи. Он просит вашего приказа взять его штурмом.

– Передайте полковнику Барроузу мою благодарность, а также передайте, что больше двадцати человек я выделить не смогу. Однако эти двадцать человек передаются в его полное распоряжение, – ответил генерал.

– Слушаю, сэр! – И ординарец, пришпорив лошадь, ускакал.

Через пять минут шеренга солдат Третьего Виргинского появилась из леса и пошла в атаку на дом. Войска Федерации открыли беспорядочный огонь со своих позиций, сразив множество храбрецов, включая и их командира, юного лейтенанта. Джек Сандерсон выбежал вперед и, размахивая пистолетом, повел уцелевших в атаку. На полпути между позициями войск Конфедерации и домом находился низкий холм – за ним солдаты и укрылись, чтобы получить хоть небольшую передышку.

Через минуту одинокая фигура бросилась вперед, к дому. Солдат пробежал уже половину простреливавшегося промежутка, когда войска северян его заметили и открыли бешеный огонь. Он на мгновение пошатнулся и приложил руку ко лбу. Затем опять побежал, добежал до дома, распахнул дверь и исчез внутри. Через минуту из окон дома полыхнул столб пламени, и практически тотчас же солдаты Федерации ударились в бегство. С позиций войск Конфедерации раздался ликующий крик, прозвучала команда «в атаку!», и солдаты пошли вперед, сметая все на своем пути. В ту же ночь в полусгоревший дом проникли разведчики. Там, на полу, рядом с кучей тюфяков, которую он поджег, лежало его тело – тело, бывшее когда-то рядовым Джоном Сандерсом из Третьего Виргинского. Он отдал свой долг чести.

Комната за зелеными ставнями

И при свете дня он выглядел зловеще, – безрадостные коричневые стены, грязные окна... Сад – если только его можно было так назвать – давно скрылся под зарослями буйно разросшихся сорняков, камни подъездной дорожки разъехались, кирпич крошился от времени. Да и внутри было не лучше. Старые расшатанные кресла с тремя ножками, покрытые тем, что когда-то было плюшем, выглядели не слишком уютно. И все же этот дом был частью наследства, оставленного мне дедушкой. В завещании было условие: «Весь дом, со всем в нем находящимся имуществом, переходит в собственность моего внука, Роберта Калвина Рэймонда, по достижении им двадцати одного года. При этом я запрещаю ему открывать комнату на втором этаже в конце коридора до тех пор, пока не погибнет Карматль. Он имеет право отремонтировать и обставить три комнаты в доме по своему желанию на современный лад, однако все остальные помещения должны остаться в неприкосновенности. Мой наследник имеет право нанять не более одного слуги».

Для бедного юноши без жизненных перспектив и без денег, существовавшего на жалкие восемьсот долларов в год, это свалившееся с неба наследство выглядело неслыханной удачей, особенно с прилагавшимися к нему двадцатью пятью тысячами долларов. Я решил отремонтировать свой новый дом и отправился на юг, в Джорджию, где в окрестностях Мэйсона он и находился. Весь вечер, трясясь в пульмановском вагоне, я думал об этом странном условии: «Я запрещаю ему открывать комнату на втором этаже в конце коридора до тех пор, пока не погибнет Карматль». Кто такой Карматль? И что это значило – «пока не погибнет Карматль»? Тщетно пытался я подойти к вопросу то так, то эдак; я никак не мог придумать ничего правдоподобного.

Добравшись наконец до дома, я зажег свечу из привезенной с собой коробки и по скрипящим ступеням поднялся наверх, на третий этаж. Впереди был длинный узкий коридор, покрытый паутиной, на полу валялись какие-то дохлые жуки. Коридор заканчивался массивной дубовой дверью, которая не позволила мне пройти дальше. В свете свечи я смог разглядеть нарисованные красной краской на двери инициалы «Д. У. Б.». Дверь была заперта снаружи толстым железным засовом, одинаково эффективно препятствовавшим как входу, так и выходу. Неожиданно моя свеча потухла, даже не вспыхнув напоследок, и я остался в полной темноте. Хотя на нервы мне жаловаться не приходится, вынужден признаться – я вздрогнул, потому что не почувствовал даже намека на ветер! Я вновь зажег свечу и пошел по коридору обратно в комнату с трехногими креслами. Было уже почти девять вечера, а весь день я провел в дороге; я устал и очень быстро уснул.

Не знаю, долго ли я спал. Но внезапно я проснулся и тут же сел в кровати, потому что из нижнего холла до меня донесся звук приближающихся шагов, а через секунду в щели двери показался отблеск свечи. Шаги были уже рядом – стараясь не шуметь, я вскочил на ноги. Снова послышались звуки, нежданный гость был совсем близко, и тогда я его увидел. Мерцающее пламя свечи падало на выразительное красивое лицо, на котором выделялись яркие карие глаза и решительный подбородок. Внушительная фигура была облачена в грязную серую униформу войск Конфедерации, а покрывавшие униформу кровавые пятна усиливали жуткое впечатление, которое произвел на меня неподвижный взгляд остекленевших глаз. Чисто выбритое лицо показалось мне смутно знакомым; инстинкт подсказал, что человек этот как-то связан с запертой дверью в правом крыле дома.

Вздрогнув, я пришел в себя и присел, изготавившись к прыжку, но нечаянный шорох спугнул незнакомца – неожиданно потухла свеча, и в темноте я наткнулся на стул, набив шишку на ноге. Остаток ночи я провел в попытках связать условие в завещании деда с этим полуночным гулякой.

Когда наступило утро, все стало выглядеть иначе, и я решил выяснить, действительно ли ко мне в гости заглядывал офицер армии Конфедерации или же это был просто сон? Я вышел в холл и стал искать любые следы, которые могли бы помочь раскрыть тайну. Как и следовало ожидать, прямо за моей дверью обнаружилось сальное пятно от свечи. Через десять ярдов нашлось и второе, и я пошел по следу из пятен через холл наверх, в левое крыло дома. Футах в двадцати от двери запретной комнаты след обрывался; ничто не указывало на то, что кто-либо шел дальше. Я подошел к двери и подергал ее, чтобы убедиться, что никому не удалось бы ни войти, ни выйти. После этого я спустился вниз и не спеша прошел в восточное крыло, чтобы оглядеть окна запертой комнаты с улицы. В комнате было три окна, закрытых глухими зелеными ставнями и наглухо забранных железными решетками. Желая в этом удостовериться, я сходил в сарай – шаткое древнее строение, – где, лишь проявив недюжинную силу, мне удалось извлечь из кучи хлама лестницу. Я приставил ее к стене дома и, взобравшись наверх, проверил каждую решетку. Все было без обмана. Они крепко сидели в бетонных рамах.

Таким образом, оставалось единственное возможное объяснение: спрятавшийся внутри человек воспользовался каким-то третьим выходом, каким-нибудь тайным ходом. С этой мыслью я обшарил весь дом от подвала до чердака, но не нашел ничего, хоть отдаленно напоминавшего тайный ход. Затем я сел и стал думать.

Итак, имелся человек, спрятавшийся в комнате в восточном крыле. Не было никаких сомнений: у этого человека была привычка наносить полночные визиты в нижний холл. Кто такой Карматль? Имя необычное, и я почувствовал, что едва я найду его обладателя, как тайна будет разгадана.

Ага, вот оно! Карматль, губернатор Джорджии! Как же мне раньше в голову не пришло? Я решил, что сегодня же вечером отправлюсь в Атланту и увижусь с ним.

II

– Мистер Карматль, не так ли?

– К вашим услугам.

– Губернатор, я пришел к вам по личному делу, однако я мог и ошибиться. Известно ли вам что-нибудь о «Д. У. Б.» или, быть может, вам знаком человек с подобными инициалами?

Губернатор побледнел.

– Молодой человек, прошу вас рассказать, где вы слышали об этих инициалах и почему вы решили прийти именно ко мне?

Стараясь быть как можно более кратким, я пересказал ему всю историю, начиная с завещания и заканчивая своими предположениями по этому поводу.

Когда я закончил, губернатор встал:

– Все понятно! Да, теперь все ясно. С вашего позволения, мне необходимо провести одну ночь в вашем доме вместе с вами и одним моим другом, который работает детективом. Если я не ошибаюсь, в этом доме прячется... – Он замолчал. – Впрочем, пока что лучше не называть имен, ведь все может оказаться всего лишь примечательным совпадением. Давайте встретимся на станции через полчаса; рекомендую захватить револьвер.

К шести часам мы – я, губернатор и детектив, которого он привез с собой, парень по имени Батлер, – уже были в доме и сразу же пошли туда, где находилась комната.

За полчаса энергичных поисков нам не удалось найти никаких следов хода – ни тайного, ни какого-либо иного. Я решил присесть отдохнуть и в этот момент случайно коснулся рукой незаметного выступа стены. Тотчас же часть стены исчезла, и перед нами открылся лаз высотой футов в три. Губернатор в тот же миг шмыгнул туда с проворством кота и скрылся с наших глаз. Оценив ситуацию, мы последовали за ним. Я полз по грубым камням в абсо-

люотной тьме. Раздался резкий звук выстрела, а затем еще один. И тут лаз кончился. Мы оказались в комнате, украшенной великолепными восточными драпировками, со стенами, увешанными средневековым оружием и древними мечами, щитами и боевыми топорами. Красная лампа на столе отбрасывала на все окружающее тусклые блики и бросала красные отблески на тело, лежавшее у подножия турецкого дивана. Это был офицер войск Конфедерации, убитый выстрелом в сердце – на серой униформе резко выделялось пятно алой крови. Рядом с телом, сжимая в руке еще дымящийся револьвер, стоял губернатор.

– Джентльмены, – произнес он, – позвольте вам представить Джона Уилкса Бута, убийцу Авраама Линкольна!

III

– Мистер Карматль, надеюсь, вы объясните нам...

– Естественно. – И, пододвинув к себе стул, губернатор стал рассказывать: – Во время Гражданской войны мы с моим сыном служили в разведке кавалерийского полка генерала Фореста и отбились от своих, так что об окружении Ли у Аппоматокса мы узнали лишь спустя три месяца. Пробираясь на юг вдоль Камберлендской дороги, мы повстречались с одним человеком. Как обычно в путешествиях, завязалось знакомство, мы решили вместе заночевать, а наутро человек исчез вместе со старой лошадью моего сына и его же старой формой, – правда, нам остались его свежая лошадь и новенький гражданский костюм. Мы не знали, что и думать, но нам даже в голову не пришло, кто это был! Мы с сыном разделились, и больше я его не видел. Он решил идти к тетке в Восточный Мэриленд, и его застрелили солдаты северян, застав врасплох на рассвете в каком-то амбаре, где он заночевал. Публике сообщили, что застрелили Бута, но и я, и правительство знали, что по ошибке застрелили моего несчастного сына, а Джон Уилкс Бут – тот самый человек, что забрал его лошадь и форму, – сбежал! Четыре года я охотился за Бутом, но, пока я не услышал от вас инициалы «Д. У. Б.», мне никак не удавалось напасть на его след. Ну а когда я его обнаружил, он выстрелил первым. Думаю, что своим визитом в холл в форме солдата Конфедерации он хотел вас просто отпугнуть. Симпатия вашего деда южанам, вероятно, и хранила его в безопасности все эти годы. Итак, джентльмены, вот вам моя история. А теперь вам предстоит решить, останется ли все это известным лишь нам троим, а также правительству или же я буду обвинен в убийстве и осужден.

– Вы так же невинны, как виновен Бут, – ответил я. – Я никогда не раскрою рта!

И мы оба подались вперед пожать ему руку.

Санта-неудачник

Во всем, что произошло, виновата мисс Хармон. Если бы не ее глупая прихоть, Тальбот не выставил бы себя перед всеми дураком и... Но не будем забегать вперед.

Наступил сочельник. Об этом свидетельствовали многочисленные Санта-Клаусы из Армии спасения, выбивавшие свинцовыми ложечками дробь по расклеивавшимся бумажным каминам. Даже нагруженные свертками старые холостяки наконец забыли о том, сколько пар тапочек и халатов им придется принять в дар на следующий день, и поддались волнующей атмосфере праздника, заполнившей деловой Манхэттен.

В гостиной дома, расположенного на тускло освещенной улице жилого квартала где-то к востоку от Бродвея, сидела леди, из-за которой – как я уже сказал раньше – все и началось. Она была занята полуфривольным-полусентиментальным разговором с безупречно одетым молодым человеком, устроившимся рядом с ней на диване. Как ни странно, беседа не выходила за рамки приличий и благопристойности, так как они были помолвлены и собирались пожениться в июне.

– Гарри Тальбот! – сказала Дороти Хармон, поднявшись и рассмеявшись в лицо сидевшему рядом с ней веселому молодому джентльмену. – Если ты не самый нелепый из моих поклонников, то я съем целиком ту кошмарную коробку свечей, которую ты подарил мне на прошлой неделе!

– Дороти, – ответил молодой человек, – подарки нужно ценить по их сути. За эту коробку я выложил деньги, которые достаются мне так тяжело.

– Как же, тяжело достаются! – презрительно рассмеялась Дороти. – Ты лучше всех знаешь, что за всю свою жизнь не заработал ни цента. Гольф и танцы – вот и все твои занятия. Да ведь ты не умеешь даже тратить деньги, чего уж говорить о заработке!

– Моя дорогая Дороти, в прошлом месяце я преуспел в опустошении нескольких тщательно сберегавшихся до того момента счетов, о чем ты сможешь узнать в подробностях от моего отца.

– Это не трата денег. Это мотовство! Не думаю, что у тебя получится правильно раздать хотя бы двадцать пять долларов, даже если от этого будет зависеть твоя жизнь.

– Но с какой стати, – возразил Гарри, – я должен расставаться с моими кровными двадцатью пятью долларами?

– Потому что, – объяснила Дороти, – это будет по-настоящему хороший поступок. То, что ты записываешь на счет своего папочки и присылаешь мне, не имеет никакой ценности по сравнению с помощью нуждающимся, которых ты вовсе не знаешь.

– Да ведь любой может раздать деньги! – не сдавался Гарри.

– Ну что ж, – ответила Дороти. – Давай проверим, можешь ли ты. Я не верю, что у тебя получится расстаться с двадцатью пятью долларами за вечер, даже если ты очень постараться.

– Конечно, у меня получится!

– Возьми и попробуй! – И Дороти, бросившись в холл, схватила его пальто и шляпу и тут же всучила их ему. – Сейчас пятнадцать минут девятого. Приходи к десяти.

– Но... – Гарри от удивления разинул рот.

Дороти постепенно оттесняла его к двери.

– Сколько у тебя денег? – спросила она.

Гарри задумчиво засунул руку в карман и пересчитал добычу:

– Ровно двадцать пять долларов и пять центов.

– Замечательно! Теперь слушай условия. Ты выходишь на улицу и раздаешь эти деньги любым незнакомым тебе людям. Каждому можно дать не больше двух долларов. Возвращайся сюда к десяти часам, и чтобы в твоих карманах было не больше пяти центов!

– Но эти двадцать пять долларов нужны мне самому, – заявил Гарри, все еще сопротивляясь движению в сторону двери.

– Гарри! – мило нахмурилась Дороти. – Я удивлена!

И в тот же миг дверь со стуком захлопнулась прямо у него перед носом.

– Я думаю, – пробормотал Гарри, – что это весьма странный поступок!

Он спустился по ступенькам и нерешительно остановился.

«И что теперь? – подумал он. – Куда идти?»

На мгновение он замешкался и, приняв решение, направился в сторону Бродвея. К тому моменту, когда он увидел приближавшегося к нему человека в цилиндре, он прошел почти полквартила. Гарри остановился. Затем собрался с духом и, сделав шаг по направлению к мужчине, издал неопределенное бульканье, которое должно было сойти за любезный смешок, и громко заголосил:

– Счастливого Рождества, друг!

– И вам того же, – ответил владелец цилиндра и собрался было пойти дальше своей дорогой, но Гарри не мог позволить себя отвергнуть.

– Мой добрый друг! – Он откашлялся. – Не хочешь ли ты, чтобы я дал тебе немного денег?

– Чего? – пронзительно вскрикнул человек.

– Вы можете нуждаться в деньгах, знаете ли, чтобы... ну, купить детям... э-э... тряпичную куклу, – блестяще закончил он.

В следующий момент его шляпа отправилась в плавание по придорожной канаве; к тому моменту, когда он ее оттуда выловил, человек успел уйти довольно далеко.

– Пять минут потеряно, – пробормотал полный ярости в адрес Дороти Гарри, продолжая путь.

Со следующим встречным он решил применить другой метод. Он будет более вежлив и обходителен.

На горизонте показалась пара – молодая дама и ее спутник. Гарри неуверенно замер на дороге и, сняв шляпу, обратился к ним:

– Поскольку наступает, знаете ли, Рождество и все дарят – э-э... подарки, я...

– Дайте ему доллар, Билли, и пойдете дальше, – сказала молодая дама.

Билли послушно сунул доллар в руку Гарри, и в этот момент девушка издала изумленный возглас.

– Вот это да, это же Гарри Тальбот! – воскликнула она. – Побирается!

Но Гарри уже ничего не слышал. Едва осознав, что они с девушкой знакомы, он развернулся и стрелой полетел по улице, проклиная собственное безрассудство, позволившее ему ввязаться в это дело.

Он достиг Бродвея и сбавил шаг. Прогуливаясь по ярко освещенной оживленной улице, он решил раздать деньги уличным оборванцам, которых однажды здесь видел. Вокруг царил предпраздничная суета.

Повсюду толпились люди, наслаждавшиеся аттракционом собственной щедрости. Гарри, бесцельно болтавшийся рядом с ними, чувствовал себя не на месте. Он привык находиться в центре внимания, привык к поклонам и приветствиям магазинных клерков, но здесь с ним никто не заговаривал, а один – или даже двое? – имели наглость ему улыбнуться и пожелать счастливого Рождества, как равному! Нервничая, он попытался заговорить с проходившим мимо мальчиком:

– Послушай, мальчик, я хочу дать тебе немного денег.

– Не надо, – поборол искушение мальчик, – не нужно мне ваших денег!

Сконфуженный Гарри пошел дальше. Он попытался подарить пятьдесят центов какому-то пьянчужке, но заметивший это полисмен похлопал его по плечу и посоветовал не останавливаться от греха подальше. Он приблизился к оборванному мужичонке и тихо прошептал:

– Тебе нужны деньги?

– Я готов, – сказал бродяга, – что за работа?

– Делать ничего не нужно, – разуверил его Гарри.

– Шутки вздумал надо мной шутить? – огрызнулся возмущенный бродяга. – Поищи кого-нибудь еще! – И растворился в толпе.

Затем Гарри попытался всунуть десять центов в руку проходившего мимо посыльного, но мальчик отвернул полу пальто и показал значок «Чаевых не беру!».

Крадучись, как вор, Гарри приблизился к чистильщику сапог и осторожно поместил в его руку десять центов. Отойдя на безопасное расстояние, он проследил, как мальчишка недоуменно сунул в карман монету, и поздравил себя с первой победой. Но ведь у него оставалось еще двадцать четыре доллара и девяносто центов! Воодушевляющий успех родил план. Гарри остановился у лотка газетчика и так, чтобы торговец это увидел, уронил двухдолларовую банкноту, тут же пустившись бежать. Через несколько минут довольно быстрого бега он, не обращая внимания на любопытные взгляды увешанных свертками прохожих, перешел на шаг и уже мысленно похлопывал себя по спине, когда услышал позади тяжелое дыхание и тот самый газетчик, от которого он только что убежал, сунул ему в руку два доллара и скрылся в мгновение ока.

На лбу у Гарри выступила испарина, он уныло поплелся дальше. Однако по пути ему все же удалось избавиться от двадцати пяти центов, которые он засунул в копилку пожертвованных беспризорным детям. Он хотел засунуть туда пятидесятицентовик, но это копилка была слишком мала. Его первой значительной суммой стали два доллара, которые получили Санта-Клаусы из Армии спасения, и после этого он стал искать их взглядом в толпе, но было уже слишком поздно, и больше они ему не попадались.

Он пересек Юнион-сквер и после получаса кропотливой работы обнаружил, что у него осталось пятнадцать долларов. Падавший мокрый снег, едва коснувшись мостовой, превращался в жидкую грязь, и легкие лакированные туфли, в которые он был обут, насквозь пропитались влагой, – при каждом шаге он слышал, как хлюпает в них вода. Он дошел до Куперсквер и повернул к Бовери. Количество людей на улицах стремительно уменьшалось, все магазины закрывались, а их обитатели спешили домой. Мальчишки-зеваки отпускали на его счет язвительные замечания, но он, подняв воротник, брел дальше. Ему казалось, что он слышит добродушно-насмешливое: «Счастливы дающие, а не берущие!»

Он свернул на Третью авеню и пересчитал оставшиеся деньги. Сумма составляла три доллара и семьдесят центов. Сквозь сгущавшийся снег он разглядел двоих впереди у фонарного столба. Это был шанс. Он мог разделить свои три доллара и семьдесят центов между ними. Он подошел и хлопнул одного из них по плечу. Тощий, отвратительно выглядевший субъект с подозрением повернулся к нему.

– Эй, не хочешь получить немного денег? – спросил Гарри надменно, так как уже исполнился ненавистью к человечеству в целом и к Дороти в частности.

Услышав вопрос, собеседник пришел в ярость.

– Ага, – ухмыльнулся он, – да ты, кажется, один из этих зануд-благотворителей, из-за которых нам приходится побираться! Давай, Джим, покажем ему, чего нам хочется!

И они ему показали. Они били его, пинали, свалили его на землю и попрыгали на нем, они расплющили его шляпу, разодрали его пальто. А Гарри, задыхаясь, растянулся в грязи,

отбиваясь и пыхтя. Он думал о тех, кто в этот самый вечер желал ему веселого Рождества. Веселья было – хоть отбавляй!

* * *

Мисс Дороти Хармон с треском захлопнула книгу. Пробило одиннадцать, а Гарри до сих пор не было. Почему он опаздывает? Скорее всего, он сдался и давным-давно пошел домой. С такими мыслями она поднялась, чтобы потушить свет, но снаружи неожиданно послышался шум, как будто кто-то упал в снег.

Дороти бросилась к окну и раздвинула жалюзи. Действуя руками и коленями, по ступенькам ползло какое-то жалкое подобие человека. На нем не было ни шляпы, ни пальто, ни шарфа, ни галстука, он весь был покрыт снегом. Это был Гарри. Он отворил дверь и вошел в гостиную, оставляя за собой мокрые следы.

– Ну и? – вызывающе сказал он.

– Гарри, – разинув рот, сказала она, – не может быть! Это ты?

– Дороти, – мрачно сказал он, – это – я!

– Что... Что случилось?

– Ничего особенного. Я просто раздал двадцать пять долларов.

И Гарри присел на диван.

– Но, Гарри... – неуверенно начала она. – У тебя синяк под глазом!

– Под глазом? Дай припомнить. А, это был как раз двадцать первый доллар. У меня возникли трения с двумя джентльменами. Тем не менее в итоге мы подружились. Они принесли мне удачу. Я бросил два доллара в шляпу слепому нищему!

– Ты весь вечер раздавал деньги?

– Моя дорогая Дороти, именно так! Я весь вечер раздавал деньги. – Он поднялся и сбросил снег со своего плеча. – Сейчас я должен идти. Там, у крыльца, меня ждут двое... э-э... друзей.

Он пошел к двери.

– Двое друзей?

– Ну... э-э... Те самые джентльмены, с которыми у меня возникли трения. Я пригласил их к себе в гости, чтобы отметить Рождество. Очень хорошие ребята, хотя на первый взгляд могут показаться грубоватыми.

Дороти громко вздохнула. На мгновение воцарилась тишина. Затем он обнял ее.

– Милый, – прошептала она, – все это ты сделал ради меня... Через минуту он спустился по ступенькам и, взяв под руки своих новых друзей, удалился в темноту.

– Спокойной ночи, Дороти! – крикнул он. – И веселого Рождества!

Проповедник и боль

Уолтер Гамильтон Бартни переехал в Миддлтон потому, что местечко было тихое, и это давало возможность полностью погрузиться в изучение законодательства, чем ему надлежало заняться уже давным-давно. Он выбрал тихий домик недалеко от деревни, обосновав это для себя так: «Миддлтон – пригород, поэтому здесь на редкость тихо. В пригороде же пригорода уединение будет абсолютным, а мне именно это и нужно». Поэтому Бартни нашел маленький домик в пригороде пригорода и поселился в нем. Слева был пустырь, а справа жил Скиггс, знаменитый проповедник церкви «Христианская наука». Именно из-за Скиггса и написан этот рассказ.

Бартни, будучи в высшей мере благовоспитанным молодым человеком, решил соседски нанести визит мистеру Скиггсу – не потому, что его так уж интересовала его персона, а потому, скорее, что он еще никогда не встречался с адептом «Христианской науки» и чувствовал, что жизнь его может пройти напрасно, если он его так никогда и не увидит.

Но время для визита он выбрал исключительно неудачное. Однажды вечером, часов около десяти – тьма была, хоть глаз выколи! – не находя себе места, он отправился заводить знакомство. Он вышел со своего участка и пошел по тропинке, гордо именовавшейся улицей, на ощупь прокладывая путь среди кустов и камней и ориентируясь по свету одинокого окна в доме мистера Скиггса.

– Главное, чтобы он не вспомнил про свет и не погасил его на ночь! – пробормотал он себе под нос. – Ведь я тогда просто заблужусь! Придется сидеть и ждать, пока не наступит утро.

Он подошел к дому, осторожно поставил ногу на то, что показалось ему на ощупь ступенькой, – и внезапно вскрикнул от боли, потому что на ногу ему вдруг скатился большой камень, пригвоздивший его к земле. Он крикнул, выругался и попробовал сдвинуть камень, но это оказалось невозможно, – камень был слишком велик и упал неудачно, и все его старания успехом так и не увенчались.

– Эй! – крикнул он. – Мистер Скиггс!

Ответа не было.

– Эй, кто-нибудь, на помощь! – крикнул он. – Помогите!

На втором этаже зажегся свет; из окна, как чертик из табакерки, высунулась голова в ночном колпаке.

– Кто там? – недовольно пропищал ночной колпак. – Кто там? Отвечай, а то стрелять буду!

– Не стреляйте! Это я – Бартни, ваш сосед. Я упал, вывихнул ногу и меня придавило камнем.

– Бартни? – переспросил ночной колпак, меланхолично кивнув. – Какой еще Бартни? Бартни негромко выругался.

– Ваш сосед. Живу в соседнем доме. Камень очень тяжелый. Пожалуйста, спуститесь сюда...

– А откуда мне знать, что вы действительно Бартни, кто бы он там ни был? – спросил ночной колпак. – Может, вы хотите меня выманить из дома и избить?

– Ради бога! – взмолился Бартни. – Взгляните на меня. Возьмите фонарик и убедитесь, что я с места сдвинуться не могу!

– Фонарика у меня нет, – донесся голос сверху.

– Тогда просто поверьте! Не могу же я здесь лежать всю ночь!

– Да идите себе, пожалуйста, я же вас не держу, – решительно пискнул ночной колпак.

– Мистер Скиггс, – в отчаянии взмолился Бартни, – я близок к смерти, а вы...

– Вы не близки к смерти, – заявил мистер Скиггс.

– Что? Вы все еще думаете, что я пытаюсь выманить вас наружу и убить?

– Повторяю, вы не близки к смерти. Теперь я убежден, что вы действительно думаете, что ранены, но, уверяю вас, это вовсе не так.

«Да он сумасшедший!» – подумал Бартни.

– Я постараюсь доказать вам, что это не так, и это принесет вам гораздо большее облегчение, чем если бы я спустился к вам и поднял камень. Я довольствуюсь малым и возьму с вас всего лишь три доллара за каждый час врачевания...

– За час?! – в ярости крикнул Бартни. – Немедленно спуститесь и снимите с меня камень, а не то я с вас шкуру спущу!

– ...даже вопреки вашей воле! – продолжал мистер Скиггс. – Исцелить вас велит мне зов свыше, а помощь страждущим – вернее, тем, кто возомнил себя страждущим, – является священной обязанностью каждого человека. Итак, освободите свой разум от всего чувственного, и начнем лечение.

– Иди сюда, мерзкий и глупый фанатик! – завопил Бартни, забыв о боли в припадке ярости. – Только спустись, и, клянусь, я выбью из тебя всю твою христианскую науку!

– Начнем с того, что нет никакой боли – вообще никакой, – раздался в ответ пронзительный фальцет из окна. – Вы ведь наверняка уже об этом задумывались, правда?

– Нет! – крикнул Бартни. – Ты, ты... – Его голос захлебнулся кашлем в бесполезной ярости.

– Так вот, существует лишь разум. Разум – это все. Материя – ничто, абсолютное ничто. С вами все хорошо. Вы думаете, что ранены, но на самом деле это не так.

– Ты лжешь! – взвизгнул Бартни.

Мистер Скиггс продолжал, не обращая внимания:

– Таким образом, если не существует боли, то и на разум она воздействовать не может. Ощущение физическим процессом не является. Если у вас нет мозга, никакой боли не будет, потому что то, что называется болью, может воздействовать только на мозг. Понятно?

– Ох-х! – воскликнул Бартни. – Если бы ты только знал, какую яму ты сам себе сейчас роешь, у тебя бы язык отнялся!

– Из этого следует, что, поскольку так называемая боль является функцией мозга, ваша нога не болит. Ваш мозг может воображать, что боль есть, однако все ощущения существуют лишь в нем самом. Глупо жаловаться, что вы ранены...

Терпение Бартни лопнуло. Он сделал глубокий вдох и заорал так, что его крик эхом разнесся в ночи. Он орал, не переставая, и через некоторое время на дороге послышались шаги.

– Эй, там! – слышался голос.

Бартни возблагодарил Господа.

– Идите сюда! Со мной несчастье, на помощь! – позвал он, и через минуту шоколадные руки ночного сторожа скатили с него камень и он смог, шатаясь, встать на ноги.

– Доброй ночи, – вежливо крикнул адепт «Христианской науки». – Надеюсь, я произвел на вас впечатление!

– Не сомневайтесь, – ответил Бартни и поковылял домой, опершись на плечо сторожа. – Век не забуду!

Два дня спустя Бартни, вытянув ногу на подушке, разбирал почту. Из пачки писем вывалился незнакомый конверт, он вскрыл его и прочитал следующее:

Уильяму Бартни: счет от доктора Гепеции Скиггса. Исцеление по методу «Христианской науки» – \$3.00. Оплата чеком либо почтовым переводом.

* * *

Прошло несколько недель. Бартни поправился. У себя во дворе он разбил цветочную клумбу и прослыл на всю округу любителем цветов. Он ежедневно что-то сажал, а на следующий день никак не мог отыскать то, что посадил накануне. Не ахти что, конечно, но надо ведь было как-то отвлекаться от тонкостей законодательства.

Однажды в разгар дня он вышел из дому и направился к своей клумбе, где вчера от безысходности высадил какие-то «магазинные» анютины глазки. К своему удивлению, у клумбы он увидел длинную, тощую и скользкую на вид фигуру, выкапывавшую его новое приобретение. Он тихо подкрался поближе, а когда воришка обернулся, сурово спросил:

– Что это вы делаете, сэр?

– Я просто... э-э-э... рву цветочки...

Длинный, тощий, скользкий на вид тип умолк. И хотя Бартни было незнакомо это лицо, голос, писклявый и недовольный фальцет, навеки запечатлелся у него в памяти. Он медленно подошел поближе и плотоядно, как волк на добычу, поглядел на обладателя голоса:

– Ну, мистер Скиггс, как же это так вышло, что я вдруг застаю вас на моей земле?

Мистер Скиггс выглядел крайне смущенным и старательно отводил глаза.

– Повторяю, – сказал Бартни, – я застал вас на своей земле... И теперь вы в моей власти!

– Да, сэр, – с тревогой поежился мистер Скиггс.

Бартни ухватил его за воротник и принялся трясти, как терьер крысу.

– Ах ты, напыщенный выродок Христианской науки! Несчастный лицемер! Что? – яростно вопрошал он, едва Скиггс издал протестующий крик. – Ты визжишь? Да как ты смеешь? Ты что, не знаешь, что никакой боли нет? Ну же, давай расскажи мне про свою христианскую науку! Давай, «разум – это все!». Говори же!

Мистер Скиггс, не останавливаясь в своем движении вверх-вниз, повторил дрожащим голосом:

– Р-р-разум – эт-то в-в-се.

– Боль – ничто! – продолжал его беспощадный палач.

– Б-б-боль – н-н-ничто! – с готовностью повторил мистер Скиггс.

Встряска продолжалась.

– Помните, Скиггс, все это ради вашего же блага. Надеюсь, что мой урок проймет вас до самого сердца. Помните, такова жизнь, следовательно, жизнь такова. Понятно?

Он прекратил трясти Скиггса и стал таскать его из стороны в сторону, крепко держа за воротник, а проповедник при этом бешено сопротивлялся, пытаясь освободиться.

– А теперь, – сказал Бартни, – я хочу услышать от вас, что вы не чувствуете никакой боли. Давайте, говорите!

– Я не чув... О-о-ох... – воскликнул он, ударившись о большой камень, – н-н-никакой б-б-боли.

– Ну а теперь, – сказал Бартни, – вы дадите мне два доллара за час произведенного мною исцеления по методу христианской науки. И закончим на этом!

Скиггс колебался, но взгляд Бартни и его сильная хватка были крайне убедительны, – нехотя он протянул двухдолларовую банкноту. Бартни порвал ее на мелкие кусочки и пустил по ветру:

– Теперь можете идти.

Почувствовав, что за воротник его уже никто не держит, Скиггс вскочил на ноги, и вы даже представить себе не можете, как быстро он пересек границу участка.

– До свидания, мистер Скиггс! – вежливо крикнул Бартни. – Как только вам опять потребуется исцеление, обращайтесь! Цена та же. Вижу, кое-что вы уже и без меня знаете. Нет никакой боли, когда страдает кто-то другой.

По следам герцога

Июльский вечер выдался жарким. Сквозь жалюзи, окна и двери на свет, как гости на бал, слетались насекомые, треща крылышками, жужжа и стрекоча. С улицы в дома вползал знойный воздух позднего лета, густой и изнуряющий; он сталкивался со стенами и, как громадное одеяло, обволакивал собой все человечество. Усталые продавцы в лавках, ворча, раздавали мороженое сотням жаждущих, но оно не приносило облегчения, даже если по углам в смехотворной попытке создать прохладу жужжали электрические вентиляторы. В апартаментах, тянувшихся вдоль улиц верхнего Нью-Йорка, пианино (покрытые, казалось, каплями черного пота) вымучивали рэгтайм прошлого сезона; то тут, то там слабые женские голоса колыхали воздух жарким сопрано. В районе доходных домов вдоль улиц ровными рядами, стопками от четырех до восьми – это зависело от высоты дома – мерцали похожие на маяки летние рубашки. Одним словом, это был обычный жаркий летний вечер в Нью-Йорке.

Юный Додсон Гарланд возлежал на диване в бильярдной собственного дома, стоявшего в начале Пятой авеню, поглощал океаны мятного джулепа и брюзжал по поводу турнира по поло, из-за которого он был вынужден остаться в городе; сигаретам и дворецкому тоже досталось, да и за соблюдением второй библейской заповеди он не гнался. Дворецкий несколько раз носился туда-сюда с новыми партиями джулепа и содовой, пока Гарланд наконец обратил внимание на его драматический выход, посмотрел на него и впервые за вечер вспомнил, что дворецкий тоже человек, а не просто живое приложение к подносу.

– Эй, Аллен, – произнес он, все еще изумленный своим открытием, – тебе тоже жарко?

Аллен выразительно вытер лоб платком, попытался улыбнуться, однако смог выдавить из себя лишь вымученную гримасу.

– Аллен, – в порыве вдохновения спросил Гарланд, – чем бы мне заняться сегодня вечером?

Аллен вновь попробовал улыбнуться, но попытка опять не удалась, и он погрузился в разгоряченное непочтительное молчание.

– Уходи! – недовольно воскликнул Гарланд. – И принеси мне еще один джулеп и коло того льда!

«Итак, – стал думать юноша, – чем бы мне заняться? Можно пойти расплавиться в театре. Можно сходить в ресторан на крыше и уморить себя пением будущей примадонны, или... Или сходить в гости!» В словаре Гарланда словосочетание «сходить в гости» означало лишь одно: увидеться с Мирабель. Мирабель Уолмси вот уже почти три месяца была его невестой и находилась сейчас в городе, поскольку должна была принимать в качестве хозяйки то одного, то другого аристократа, наносившего визиты ее отцу. Счастливый юноша зевнул, перекатился на другой бок, опять зевнул и занял сидячее положение, после чего зевнул в третий раз и встал с дивана.

«Пожалуй, схожу к Мирабель. Прогулка мне не повредит». Приняв это решение, он пошел в комнату, где полчаса одевался, потел и опять одевался. В безукоризненном костюме он вышел из своей резиденции и направился по Пятой авеню к Бродвею. Весь город высыпал на улицу. На раскаленном до белизны асфальте тут и там стояли люди, облаченные в полотняные костюмы и легкие платья, смеявшиеся, болтавшие, кутившие, улыбающиеся; всем было жарко, никто не находил себе места.

Он дошел до дома Мирабель и неожиданно замер у крыльца.

«Господи, – подумал он, – как же я забыл! Ведь сегодня к отцу Мирабель должен был прибыть герцог Дансинлейн, Артрелейн или как его там... Ужас! Мы с Мирабель уже три дня не виделись». Он вздохнул, замешкался, но все-таки поднялся по ступенькам и позвонил

в дверь. Едва он вошел, как видение из его грез выбежало в холл, в сильном волнении и смятении.

– О, Додди, – выпалила она, – какой кошмар! Герцог час назад покинул дом. Никто из горничных не заметил, как он ушел. Он просто отправился куда глаза глядят! Ты должен его отыскать! Ведь он заблудится и потеряется, его же никто здесь не знает. – В отчаянии Мирабель обворожительно всплеснула руками. – Я не выдержу, если он потеряется! Такая жара... У него наверняка будет солнечный удар... Или лунный! Иди и отыщи его. Мы позвонили в полицию, но я на них не надеюсь. Поспеш! Прошу тебя, Додди, я так волнуюсь!

Додди засунул руки в карманы, вздохнул, нахлобучил шляпу и вздохнул еще раз. Затем развернулся к двери. Мирабель, крайне обеспокоенная, последовала за ним.

– Веди его прямо сюда, если найдешь. Додди! Ты – мой спаситель!

Спаситель опять вздохнул и быстро вышел из дверей. На крыльце он остановился:

– Черт знает что! Выслеживать французского герцога в Нью-Йорке! Это уж слишком! И куда мне идти? Что делать-то? – Он постоял на крыльце, а затем вместе с толпой пошел к Бродвею. – Так, посмотрим... Надо придумать какой-нибудь план. Нельзя же просто ходить и спрашивать каждого встречного, не герцог ли он... герцог... н-да, как же его зовут? Как он выглядит, я тоже не знаю. Скорее всего, по-английски он не говорит. Черт бы побрал эту аристократию!

Он шел куда глаза глядят, ему было жарко, а в голове царил сумбур. Как жаль, что он не спросил у Мирабель имени герцога и не попросил его описать – увы, поезд уже ушел. Нет, в такой ошибке он не признается никогда! Лишь когда он дошел до Бродвея, у него вдруг возник план.

– Надо пройтись по ресторанам! – И он направился к «Шерри».

Через полквартала его посетило вдохновение. Фотография, а также имя герцога наверняка были в вечерней газете!

Он купил газету и стал искать фотографию – тщетно! Но он не сдавался. В седьмой по счету газете он ее все-таки нашел: «Герцог Маттерлейн наносит визит американскому миллионеру».

С газетного листа на него грозно уставился герцог – в очках и с бакенбардами. Гарланд облегченно вздохнул, постарался запомнить лицо и сунул газету в карман.

– Итак, к делу, – пробормотал он, утерев пот со лба. – Герцог – или смерть!

Через пять минут он вошел в зал «Шелли», уселся и заказал имбирный эль. В ресторане, как всегда в летний вечер, было полно народу, все слегка вялые, покрасневшие и загорелые. Все пили шампанское со льдом, от чего в помещении казалось еще жарче; все было как всегда, и герцога там не было. Гарланд вздохнул, встал и ушел. Затем он посетил «Дельмонико» и «У Мартина», везде выпивая по стакану имбирного эля.

«С выпивкой придется завязать, – подумал он, – а то напьюсь, пока найду его утраченное величество».

На своем утомительном пути он миновал множество ресторанов и отелей, не прекращая поисков; иногда ему казалось – вот он, оазис, но в результате это оказывался очередной мираж. Он залил в себя столько имбирного эля, что уже покачивался на ходу, как моряк на палубе, но все же упорно брел дальше и дальше, ему становилось все жарче, чувствовал он себя все хуже, или, как сказала бы Алиса из Страны чудес, «все хужее и хужее». Перед его глазами неотступно маячило лицо герцога. Он шел от отеля к кафе, от кафе к ресторану, и везде ему мерещились бакенбарды. Когда он отправился в путь, часы на мэрии пробили половину девятого. Сейчас была уже половина одиннадцатого; жара, зной и духота чувствовались, как никогда. Он посетил все возможные места отдохновения. Он заходил даже в лавки. Он был в четырех театрах, и за большую взятку ему удалось кое-что выяснить. Деньги кончались, надежда уменьшалась, но вдруг его сердце гулко и торжествующе забило.

Потому что неожиданно прямо перед собой на аллее – как ему сказали, этот путь был короче – он увидел закуривавшего мужчину. Свет спички осветил бакенбарды. Гарланд встал столбом, не веря, что это герцог. Мужчина опять закурил. Точно, он! Без сомнения – те самые бакенбарды, очки и лицо!

Гарланд пошел к мужчине. Тот посмотрел на него и пошел в противоположном направлении. Гарланд пустился бежать; мужчина оглянулся и тоже пустился бежать. Гарланд перешел на шаг. Мужчина тоже зашагал. На Бродвей они вышли примерно с тем же разрывом, и мужчина направился к северу. Гарланд упорно шел в сорока футах позади, с непокрытой головой. Шляпу он потерял на аллее.

Так они прошли восемь кварталов, темп задавал преследователь. Затем герцог что-то тихо сказал полисмену, и, когда одержимого погоней Гарланда схватил за рукав страж порядка в голубом мундире, герцог пустился бежать. Гарланд, не помня себя, ударил полисмена, сбил его с ног и побежал сам. За три квартала он наверстал возникшее отставание. Еще пять кварталов герцог держал дистанцию, периодически оглядываясь через плечо. В начале шестого он остановился. Гарланд приблизился к нему уверенным шагом. Владелец бакенбардов стоял под фонарем. Гарланд подошел и похлопал его по плечу:

– Ваша светлость!

– Чё надо? – в неповторимой манере Ист-сайда ответил герцог.

Гарланд оторопел.

– Я те покажу «светлость»! – агрессивно продолжил владелец бакенбардов. – Я смотрю, какая цаца – давно бы тебя пощипал, жаль, сам тока вчера откинулся. Теперь слушай сюда. Даю две секунды, и чтоб тебя тут не стояло. Так что линяй отседова!

И Гарланд «слинял». Пав духом, с разбитым сердцем, направился он к Мирабель. По крайней мере он достойно завершит неудавшийся поход! Через полчаса он позвонил в дверь; его насквозь мокрый костюм висел на нем, как банный халат.

Дверь открыла очаровательно невозмутимая Мирабель.

– О, Додди! – воскликнула она. – Я так тебе благодарна! Герци вернулся буквально через десять минут после того, как ты ушел. – Она погладила маленького белого пуделя, которого держала на руках. – Он, оказывается, просто побежал за почтальоном!

Гарланд сел прямо на ступеньку крыльца:

– А как же герцог Маттерлейн?

– Да, – ответила Мирабель, – он будет у нас завтра. Приходи, я вас познакомлю.

– К сожалению, не смогу, – сказал Гарланд, с трудом поднимаясь, – завтра я очень занят. – Он замолчал, вымученно улыбнулся и зашагал по залитому лунным светом горячему тротуару.

Венец из призрачного лавра

(Сцена представляет собой интерьер винного погребка в Париже. Стены со всех сторон уставлены рядами бочонков, стоящих друг на друге. Потолок низкий и покрыт паутиной. Сквозь забранное решеткой окно в заднике сцены удрученно пробивается дневной солнечный свет. По бокам сцены двери; одна из них, тяжеловесная и мощная, ведет на улицу; вторая, слева, в соседнее помещение. Посередине комнаты стоит широкий стол, вдоль стен расставлены столики поменьше. Над большим столом висит корабельный фонарь.

Поднимается занавес, и в дверь, ведущую на улицу, стучат снаружи – довольно энергично; из соседней комнаты тут же появляется виноторговец Пито и шаркающей походкой направляется к двери. Пито – старик с неопрятной бородой, в грязном вельветовом костюме.)

Пито. Иду, иду... Минуточку...

(Стук смолкает. Пито отпирает замок, и дверь широко распахивается. Входит мужчина в цилиндре и плаще-накидке. Это Жак Шандель; ему примерно тридцать семь, он высокого роста, холерный. Взгляд ясный и пронизательный, гладко выбритый подбородок резко очерчен и выглядит решительным. Его манеры говорят о том, что этот человек привык к успеху, но при необходимости всегда готов к упорному труду. По-французски он разговаривает со странным монотонным акцентом, – так обычно говорят те, кто знают язык с детства, но за много лет вдали от Франции отвыкли на нем говорить.)

Пито. Добрый вечер, монсеньор!

Шандель *(с любопытством оглядываясь)*. Монсеньор Пито – это вы?

Пито. Да, монсеньор.

Шандель. О да, мне говорили, что в этот час вас всегда можно здесь застать! *(Снимает пальто и аккуратно кладет его на стул.)* И еще мне сказали, что вы сможете мне помочь.

Пито *(в недоумении)*. Я? Могу вам помочь?

Шандель *(с усталым видом усаживаясь на стоящий у стола деревянный стул)*. Да, я ведь... я ведь приезжий... теперь. Я хотел бы узнать об одном человеке... Он умер много лет назад. Мне говорили, что вы здесь старожил. *(На его губах появляется улыбка.)*

Пито *(явно польщенный)*. Возможно... и все же здесь есть люди и постарше меня. Да-да, постарше меня! *(Усаживается за стол напротив Шанделя.)*

Шандель. Вот я к вам и пришел. *(Энергично склоняется вперед, к Пито.)* Монсеньор Пито, я хочу узнать что-нибудь о своем отце!

Пито. Понимаю.

Шандель. Он умер в этом округе, лет двадцать тому назад.

Пито. Отец монсеньора был убит?

Шандель. О боже, нет! А почему вы так решили?

Пито. Я подумал, что двадцать лет назад, в этом округе, аристократ...

Шандель. Мой отец не был аристократом. Я знаю, что его последним местом работы было какое-то богом забытое кафе; он был официантом. *(Пито бросает взгляд на одежду Шанделя; его лицо приобретает озадаченное выражение.)* Позвольте, я объясню. Я покинул Францию двадцать восемь лет назад и уехал в Штаты вместе с дядюшкой. Мы отплыли на эмигрантской посудине; вы знаете, что это?

Пито. Да, знаю.

Шандель. Мои родители остались во Франции. Об отце я помню только, что он был небольшого роста, с черной бородой и ужасно ленивый... Из хорошего помню лишь одно: он научил меня читать и писать. Где он сам научился этому, я не знаю. Через пять лет после того, как мы приехали в Америку, мы познакомимся с одним вновь прибывшим французом родом из этой части города; он рассказал нам, что мои родители скончались. Вскоре после этого скончался и дядюшка, так что я был слишком занят, чтобы думать о родителях, которых я к тому же почти не помнил. *(Пауза.)* Скажем кратко, я преуспел, и...

Пито *(с почтением)*. Монсеньор богат... Странно это... Очень странно!

Шандель. Пито, возможно, вам показалось странным, что я вдруг, ни с того ни с сего, именно сейчас сваливаюсь к вам на голову и пытаюсь узнать что-нибудь об отце, навсегда исчезнувшем из моей жизни больше двадцати лет назад...

Пито. Н-да... Я правильно понял – вы сказали, что он умер?

Шандель. Да, он умер, но... *(Затинается.)* Пито, вы, быть может, поймете, если я расскажу вам, что привело меня сюда.

Пито. Да, может быть.

Шандель *(очень серьезно)*. Монсеньор Пито, в Америке у всех моих знакомых, и у господ, и у дам, у всех есть отцы! Отцы, которых можно стыдиться, отцы, которыми можно гордиться, отцы, чьи портреты висят в позолоченных рамках, и отцы, память о которых спрятана в семейных шкафах; отцы, прославившиеся в Гражданскую, и отцы, чьей единственной заслугой было то, что они прибыли на остров Эллис. А кое у кого есть даже деды.

Пито. У меня был дед. Я его помню.

Шандель *(перебивая)*. Я бы хотел увидеть людей, которые были с ним знакомы, которые с ним беседовали. Я хочу узнать, о чем он думал, как жил, что делал. *(Импульсивно.)* Я хочу его почувствовать... Я хочу его узнать...

Пито *(перебивая)*. Как его звали?

Шандель. Шандель. Жан Шандель.

Пито *(тихо)*. Я знал его.

Шандель. Вы его знали?

Пито. Он часто заходил сюда выпить... Это было давно, когда сюда ходила *чуть* не половина округа.

Шандель *(взволнованно)*. Сюда? Он приходил сюда? В этот вот зал? Боже мой, да ведь даже дом, где он жил, десять лет уже как снесен! За два дня поисков вы – первый человек, который его помнит! Расскажите же мне о нем... Рассказывайте все, ничего не стесняйтесь!

Пито. За сорок лет здесь много кто появлялся и затем исчезал. *(Качает головой.)* Множество лиц, множество имен... Жан Шандель: да, конечно же, Жан Шандель. Да-да... Вашего отца я хорошо помню – он был...

Шандель. Да?

Пито. Ужасный пьяница!

Шандель. Пьяница... Да, я ждал чего-то подобного... *(Видно, что он слегка удручен, хотя и делает вялую попытку этого не показывать.)*

Пито *(пробираясь сквозь лес воспоминаний)*. Помню, как однажды воскресным вечером, в июле... Жаркий вечер был, прямо пекло... Ваш отец... Так-так, сейчас припомню... Ваш отец хотел зарезать Пьера Кора за то, что тот выпил его кружку шерри.

Шандель. Ого!

Пито. А затем... Ах, да... *(Разволновавшись, встает.)* Я словно вновь все вижу своими глазами! Ваш отец играет в «двадцать одно», и ему говорят, что он мошенничает, а он бьет Клавию стулом в челюсть, швыряет в кого-то бутылкой, а Лафуке всаживает ему прямо в легкое нож. И так он после этого и не оправился. Это было... Это было за два года до его смерти.

Шандель. Так значит, он мошенничал и был убит! Боже мой, стоило ли мне плыть через океан, чтобы об этом узнать!

Пито. Нет-нет... Я никогда не верил, что он мошенничал! Это была ловушка...

Шандель (*закрывая лицо руками*). Это все? (*У него дергаются плечи, он говорит слегка охрипшим голосом.*) Я не ждал, что он окажется святым, но... Что ж... Значит, он был мерзавцем.

Пито (*кладя руку на плечо Шанделя*). Ну-ну, монсеньор, я, видимо, сказал лишнего... Это были варварские времена. Ножи тогда шли в ход по любому поводу. Ваш отец... Но подождите-ка... Хотите познакомиться с его друзьями? С тремя его лучшими друзьями? Они расскажут вам гораздо больше, чем я!

Шандель. (*угрюмо*). Его друзья?

Пито (*вновь погружаясь в воспоминания*). Их было четверо. Трое до сих пор сюда ходят... Придут и сегодня... Четвертым был ваш отец. Они обычно сидели за этим столом, болтали и пили. Болтали всякую чепуху – все так говорили. Над ними все смеялись, их тут звали «потешные академики». Каждый вечер они тут сидели... Приходили часов в восемь, а в полночь, еле держась на ногах, уходили...

(*Открывается дверь, входят трое мужчин. Первый – Ламарк – высокий, худой, с редкой, торчащей во все стороны бородкой. Второй – Дестаж – низенький, толстенький, с седой бородой, лысый. Третий – Франсуа Меридье – стройный, волосы у него темные, с проседью, над губами небольшие усики. У него на лице написано, что он жалок и слаб; глаза маленькие, подбородок покатый. Выглядит он очень нервным. Все они с туповатым любопытством смотрят на Шанделя.*)

Пито (*показывая рукой на всех троих*). Вот они, монсеньор, они расскажут вам больше, чем я. (*Поворачиваясь к ним.*) Господа, этот джентльмен желает знать о...

Шандель (*торопливо вставая, перебивая Пито*). О друге моего отца! Пито рассказал мне, что вы были с ним знакомы. Кажется, его звали... Да, Шандель!

(*Вся троица вздрагивает, а Франсуа начинает нервно посмеиваться.*)

Ламарк (*после паузы*). Шандель?

Франсуа. Жан Шандель? Так у него были друзья помимо нас?

Дестаж. Прошу меня простить, монсеньор! Это имя... его уже двадцать два года никто, кроме нас, не вспоминает.

Ламарк (*пытаясь держаться с достоинством и выглядя при этом немного смешно*). И мы произносим его всегда с почтением и трепетом.

Дестаж. Ламарк, возможно, чуточку преувеличивает. (*Очень серьезно.*) Он был нам очень дорог. (*И вновь Франсуа нервно смеется.*)

Ламарк. Но что хотел бы узнать монсеньор? (*Шандель жестом приглашает их сесть. Они занимают места за большим столом, Дестаж достает трубку и принимается ее набивать.*)

Франсуа. Ого, да ведь нас опять четверо!

Ламарк. Идиот!

Шандель. Эй, Пито! Принеси всем вина. (*Пито кивает и шаркающей походкой удаляется.*) Итак, господа, расскажите мне о Шанделе. Расскажите мне, что это был за человек?

(*Ламарк бросает беспомощный взгляд на Дестажа.*)

Дестаж. Ну, он был... Он был привлекательный...

Ламарк. Но не для всех!

Дестаж. Для нас. Кое-кто считал его подлецом. (*Шандель моргает.*) Он был чудесным собеседником, – когда ему этого хотелось, он мог заставить весь зал его слушать. Но он предпочитал беседовать с нами. (*Входит Пито с бутылкой и стаканами. Он разливает вино и оставляет бутылку на столе. Затем уходит.*)

Ламарк. Он был образованным. Бог его знает, как это он ухитрился?

Франсуа (*осушив свой стакан и наливая себе еще вина*). Он знал все на свете, мог рассказать о чем угодно... Мне он читал стихи. О, что это были за стихи! Я слушал и грезил...

Дестаж. И еще он мог писать стихи и мог петь их под гитару.

Ламарк. И он рассказывал нам о героях и героинях прошлого: о Шарлотте Корде, о Фуке, о Мольере, Людовике Святом, и о Меймине-душителе, и о Карле Великом, и о мадам Дюбарри, о Макиавелли, о Джоне Ло и Франсуа Вийоне...

Дестаж. Вийон! (*С энтузиазмом.*) Он любил Вийона. Он мог говорить о нем часами.

Франсуа (*наливая еще вина*). А затем он пьянел и говорил: «Давайте драться», вскакивал на стол и обзывал всех, кто был в погребке, свиньями и сукиными детьми! Вот как! Хватал стул или столик, принимался богохульствовать... В такие вечера нам приходилось тяжело.

Ламарк. А потом он брал шляпу, гитару и шел петь на улицу. Он пел о луне.

Франсуа. И о розах, и о выбеленных солнцем вавилонских башнях, и о прекрасных дамах из королевской свиты, и о «безмолвных мелодиях, что текут от океана к луне».

Дестаж. Вот почему у него никогда не было денег. У него была светлая голова, он был умен; если он работал, то изо всех сил, отдавая всего себя, но он всегда был пьян – и днем и ночью.

Ламарк. Он часто питался одним лишь вином, иногда это длилось неделями.

Дестаж. Ближе к концу его нередко забирали в участок.

Шандель (*зовет*). Пито! Еще вина!

Франсуа (*возбужденно*). А я! Меня он любил больше всех. Он часто говорил, что я был для него как ребенок, ему хотелось всему меня научить. Но он умер, так и не успев начать. (*Входит Пито с еще одной бутылкой; Франсуа с жадностью хватается ее и наливает себе вина.*)

Дестаж. А потом этот проклятый Лафуке... Всадил в него нож!

Франсуа. Но с Лафуке я рассчитался. Он стоял, пьяный, на мосту через Сену...

Ламарк. Молчи, дурак...

Франсуа. Я толкнул его, и он пошел ко дну... И в ту ночь мне приснился Шандель; он меня поблагодарил...

Шандель (*содрогнувшись*). А как давно... Сколько уже лет вы сюда ходите?

Дестаж. Шесть или семь. (*Угрюмо.*) Пора бы уже перестать... пора перестать.

Шандель. И все о нем забыли. Он ничего не оставил после себя. И никто о нем никогда не вспомнит.

Дестаж. Вспомнит! Фу! Потомки – такие же мошенники, как и самые предубежденные театральные критики, когда-либо пытавшиеся подлизаться к актерам. (*Нервно крутит стакан.*) Боюсь, вы не поймете, что мы чувствуем по отношению к Жану Шанделю... Для меня, Франсуа и Ламарка он был даже больше, чем гений, которым надо восхищаться...

Франсуа (*хрипло*). Видите ли, он стоял за нас, словно за себя...

Ламарк (*встает от волнения и начинает ходить туда-сюда*). Вот были мы... четверо... Трое из нас – без всякого воображения... не знавшие искусства, практически неграмотные. (*Свирепо поворачивается к Шанделю и говорит почти с угрозой.*) Понимаете ли вы, что я не умею ни читать, ни писать? Видите ли, несмотря на блестящие фразочки, *внутри* Франсуа слабохарактерный и ограниченный, словно...

(Франсуа в гневе встает.)

Ламарк. Сядь. *(Франсуа садится, что-то бормоча себе под нос.)*

Франсуа *(после паузы)*. Но, монсеньор, вы должны знать... У меня есть дар... *(Бес-помощно.)* Я не знаю, как его назвать... дар восхищения... художественное, эстетическое чутье... Называйте, как хотите... Слабый... Что ж, почему бы и нет? Вот он я: судьба мне не улыбнулась, весь мир против меня. Я лгу... Я иногда ворую... Я пью. ..Я...

(Дестаж наливает вина в стакан Франсуа.)

Дестаж. Эй, ты! Давай пей и умолкни. Ты нагоняешь на джентльмена тоску. Это его слабая сторона... Бедное дитя...

(Шандель, молча все это выслушавший, резко разворачивает свой стул к Дестажу.)

Шандель. Но вы говорили, что мой отец был для вас больше, чем просто друг. Что вы имели в виду?

Ламарк. Разве вы не понимаете?

Франсуа. Я... Я... он помогал... *(Дестаж наливает еще вина и дает ему стакан.)*

Дестаж. Видите ли... Как же это сказать? Он выражал нас. Представьте себе мой ум: склонный к переживаниям, чувствительный, но неразвитый. Если бы вы только могли себе представить, каким бальзамом, каким лекарством были для меня беседы с ним, в которых находилось место всему! Они и были для меня всем! Я мог самым жалким образом тщетно строить фразу, чтобы выразить нечто смутно и страстно желанное, а он это облекал в одноединственное слово!

Ламарк. Монсеньор еще не заскучал? *(Шандель качает головой, открывает портсигар, берет сигарету и закуривает.)*

Ламарк. Перед вами, сэр, три крысы, дети сточной канавы – самой природой нам предназначено жить и умереть в грязных ямах, где мы рождены. Но три крысы лишь в одном не подвластны сточной канаве, – у них есть глаза! Ничто не может удержать их от того, чтобы и дальше оставаться в канаве, кроме их глаз, и ничто не поможет им, если они выберутся из своей канавы, – лишь их глаза; и тут появился свет! Он появился и исчез, оставив нас все теми же самыми крысами, подлыми крысами... А когда исчезает свет, ты слепнешь.

Франсуа *(бормочет себе под нос)*. —

Слепой! Слепой! Слепой!

И он бежит один, когда уходит свет;

И солнце закатилось, наступила тьма;

И крыса залегла в канаву – вот ее тюрьма.

Она ослепла!

(На стакане, который Франсуа держит в руке, задержался случайно попавший в подвал луч закатного солнца. Вино искрится и переливается. Франсуа бросает на него взгляд, вздрагивает и роняет стакан. Вино разливается по столу.)

Дестаж *(оживленно)*. Пятнадцать... двадцать лет назад он сидел там, где сейчас сидите вы. Невысокий, с густой бородой, черноглазый... Всегда казалось, что ему хочется спать...

Франсуа *(закрыв глаза, его голос плывет)*. Всегда сонный, сонный, сон...

Шандель (*мечтательно*). Он был поэтом непоющим, в венце из пепла. (*Его голос звенит нотками ликования.*)

Франсуа (*говорит во сне*). Ну что ж, Шандель, какой ты сегодня? Остроумный, грустный, отупевший или пьяный?

Шандель. Господа! Уже поздно. Мне пора. Прошу вас, пейте! Пейте все. (*С подъемом.*) Пейте до тех пор, пока уже не сможете говорить и видеть! (*Бросает на стол банкноту.*)

Дестаж. Юный монсеньор...

(*Шандель надевает пальто и шляпу. Входит Пито. Он принес еще вина, наполняет стаканы.*)

Ламарк. Выпейте с нами, монсеньор!

Франсуа (*во сне*). Тост, Шандель! Скажи тост.

Шандель (*берет стакан и высоко его поднимает*). Тост! (*Его лицо слегка покраснело, руки плохо его слушаются. Сейчас он выглядит настоящим галлом – совсем не так, как выглядел, когда вошел в винную лавку.*)

Шандель. Я хочу выпить за того, кто мог бы стать всем, но остался ничем. За того, кто мог бы петь, но кто лишь слушал. Кто мог бы смотреть на солнце, но смотрел на гаснущие угли... Кто пил лишь горечь и носил венец из призрачного лавра!

(*Все остальные встают, даже Франсуа, который при этом чуть не падает.*)

Франсуа. Жан, Жан, не уходи! Не уходи, прошу тебя! Это я, Франсуа! Разве можешь ты меня бросить? Я ведь останусь один, совсем один... (*Его голос звучит все громче и громче.*) Господи, разве ты не видишь? Этот человек не имеет права умереть! Ведь он – моя душа! (*Он еще некоторое время удерживается на ногах, а затем оседает, распластавшись на столе. Вдали в сумерках слышится жалобный напев скрипки. Последний луч солнца замирает на голове Франсуа. Шандель открывает дверь и уходит.*)

Дестаж. Уходят старые времена, проходит любовь, и уходит старый добрый дух. «Где ныне прошлогодний снег?» – вот как. (*Неуверенно умолкает, затем продолжает.*) Давно уже я без него...

Ламарк (*сонно*). Давно.

Дестаж. Твою руку, Жак! (*Они обмениваются рукопожатием.*)

Франсуа (*громко*). Эй! Я тоже... Вы ведь не оставите меня? (*Слабым голосом.*) Хочу... еще стаканчик вина... всего один...

(*Свет меркнет, наступает тьма.*)

(ЗАНАВЕС)

Испытание

Широкие просторы центрального Мэриленда находились под привычным обстрелом горячего послеполуденного солнца, которое поджаривало и обширные долины, и извилистые дороги в клубах мелкой пыли, и безобразную, покрытую шифером крышу монастыря. В четыре часа дня даже сады излучали жару, сухость и леность, рождавшие какое-то подобие тихого довольства – пусть без романтики, но все-таки радостного. Стены, деревья, посыпанные песком дорожки, казалось, излучали обратно в чистое безоблачное небо знойное тепло позднего лета, со счастливым смехом жарясь на солнце. Этот час принес какое-то странное чувство успокоения и фермеру с соседнего поля, утершему пот со лба и потрепавшему по холке изнывающую от жажды лошадку, и послушнику, что вскрывал жестяные консервные банки за монастырской кухней.

По насыпи над речкой ходил человек. Он шагал вверх-вниз уже полчаса. Когда он в очередной раз прошел мимо, бормоча молитвы, послушник в недоумении посмотрел на него. Час перед принятием обета всегда был тяжелым. Впереди восемнадцать лет, а мир оставляешь позади. Послушник многих видел в таком состоянии: некоторые бледнели и нервничали, некоторые мрачнели и исполнялись решимости, кое-кто впадал в отчаяние. Но, когда колокол возвещал звоном о наступлении пятого часа пополудни, произносился обет, и новички, как правило, приходили в себя. Как раз в этот час в сельской глубинке мир кажется единственной реальностью, а монастырь – призрачным и немощным. Послушник сочувственно покачал головой и пошел своей дорогой.

Человек, не отрываясь, читал молитвослов. Он был совсем молод – не больше двадцати; пребывавшие в беспорядке темные волосы делали его похожим на мальчишку. На спокойном лице лежал румянец, губы непрерывно двигались. Он не нервничал. Ему даже казалось, что он всегда знал, что будет священником. Два года назад он почувствовал слабое волнение, трансцендентное ощущение десницы Божьей во всем, и воспринял это как добрый знак: приближалась весна его жизни. Он позволил себе сопротивляться изо всех сил. Проучился год в университете, провел четыре месяца за границей, но все это лишь укрепило его в мысли, что он познал свою настоящую судьбу. Он почти не колебался. Поначалу его страшил уход от мира, его охватывал безымянный ужас при мысли об этом. Он думал, что любит мир. Он панически сопротивлялся, но при этом все увереннее чувствовал, что последнее слово уже произнесено. У него было призвание свыше. И тогда, поскольку он не был трусом, он решил стать священником.

Весь долгий месяц послушничества его раздирали глубокая, полубезумная радость и неясный страх утраты своей любви к жизни вместе с осознанием приносимой жертвы. Любимый сын, он был взращен гордым и уверенным в себе, с верой в судьбу. Ему были открыты все пути: удовольствия, путешествия, политика, дипломатия. Когда три месяца назад он вошел в домашнюю библиотеку и объявил отцу о своем намерении стать иезуитом, разразился скандал. Друзья и родственники забросали его письмами. Ему говорили, что из-за сентиментального предрассудка самопожертвования, из-за какого-то детского каприза он губит юную многообещающую жизнь. Месяц он выслушивал горькие высокопарные банальности, ища утешения лишь в молитвах и твердо держась своего пути к спасению. В результате оказалось, что тяжелее всего было победить самого себя. Его опечалили разочарование отца и слезы матери, но он знал, что время их примирит.

И вот через полчаса он должен был произнести обет, который навеки посвятит его жизнь служению. Восемнадцать лет учения – восемнадцать лет ему будут диктовать все его мысли, все его идеи, а его индивидуальность и даже его физический облик будут изглаживаться ради того, чтобы в результате он превратился в прочное и надежное орудие, кото-

рое будет работать, работать и работать. Как ни странно, сейчас он чувствовал себя спокойнее и счастливее, чем раньше. Яростное, пульсирующее солнечное тепло билось в унисон с его созревшим сердцем, крепким в своей решимости и готовым выполнять свою часть работы – великого труда. Он ликовал оттого, что был избран – он, один из многих достойных, неустанно призываемых. И он откликнулся на зов.

Слова молитв вливались потоком в его разум, устремляя ввысь, к спокойствию и миру; его глаза улыбались. Все было просто; он был уверен, что жизнь умещается в молитве. Он шагал вверх и вниз. Затем вдруг что-то случилось. Впоследствии он никогда не мог описать, что это было, – он говорил, что в молитвы вкралось нечто подспудное, нечто неожиданное и чуждое. Он продолжал читать, и это нечто превратилось в мелодию. Он вздрогнул и оторвал глаза от книги, – далеко внизу по пыльной дороге, держась за руки, шли и пели негры, пели старую песню, которую он знал:

*Надеюсь, встретимся с тобой на небесах
И никогда с тобой не разлучимся,
На небесах с тобой не разлучимся.
Господь помилуй нас, благослови,
Чтоб мы на небесах соединились.*

Пронеслась какая-то мысль – что-то, о чем он раньше не думал. Он почти разозлился на тех, кто так не вовремя появился перед ним, – не потому, что они были простыми примитивными существами, а потому, что они каким-то образом смогли вторгнуться в его мысли. Эта песня появилась в его жизни уже давно. Ее всегда напевала нянька в туманную пору его детства. Он сам часто тихо наигрывал ее на банджо жаркими летними вечерами. Песня напомнила ему о многом: о нескольких месяцах на море, о жарком пляже, омываемом угрюмым океаном, где они с кузиной строили замки из песка; о летних вечерах на большой лужайке у дома, где он ловил светлячков, пока песню доносило вечерним ветром из негритянских кварталов. Позже, уже с новыми словами, она стала серенадой, ну а теперь... Что ж, эта часть его жизни окончилась, но перед его мысленным взором вновь вставала девушка с добрыми глазами, постаревшая от горя, в ожидании, в тщетном ожидании... Ему казалось, что он слышит зовущие его голоса – детские голоса. А затем вокруг уже кишела городская толпа, раздавался гул разговоров; и семья, которой не будет никогда, манила его к себе.

Теперь в его голове подспудно зазвучала другая мелодия: дикая, нескладная музыка, обманчивая и плачущая, как визг сотен скрипок, но при этом отчетливая и ритмичная. Перед ним, как на панораме, проплывали друг за другом искусство, красота, любовь и жизнь, он ощущал экзотические ароматы мирских страстей. Он видел борьбу и войны, колыхание каких-то стягов, армию, приветствовавшую короля, но сквозь все это на него смотрели прекрасные и печальные глаза девушки, превратившейся в женщину.

И снова музыка изменилась; атмосфера стала давящей и печальной. Ему казалось, что перед ним бесновалась толпа, обвинявшая его. Снова дым окутал тело Джона Уиклифа, монах преклонил колени и рассмеялся оттого, что бедным не хватало хлеба, Александр VI опять вдавил отравленное кольцо в руку брата, закутанные в черные рясы инквизиторы нахмурились и зашептались. Трое великих произнесли, что Бога нет, и миллионы голосов возопили: «Почему? Почему мы должны в это верить?» А затем, будто в кристалле, он услышал голоса Гекели, Ницше, Золя и Канта, восклицавшие: «Не верю!» Он увидел Вольтера и Шоу, в холодной ярости. Голоса продолжали молить: «Почему?», а печальные девичьи глаза опять смотрели на него с бесконечной тоской.

Он находился в пустоте над миром – все и всё звали его теперь. Он был не в силах молиться. Снова и снова он повторял без чувства и смысла: «Помилуй меня, Господи! Помилуй»

луй меня, Господи!» Еще минуту, показавшуюся вечностью, он дрожал в пустоте – и вдруг все кончилось. Что-то во взгляде девушки изменилось, губы стали походить на холодный камень, а ее страсть показалась мертвой и преходящей.

Он стал молиться, и постепенно тучи рассеялись, образы потускнели и превратились в тени. Его сердце замерло на миг, а затем... Он стоял на берегу, колокол пробил пять вечера. Его преподобие настоятель спуускался к нему по ступеням:

– Час пробил, входите.

Человек сразу же повернулся:

– Иду, святой отец.

Послушники безмолвно входили в храм и преклоняли колени для молитвы. На алтаре среди горящих свечей стоял сияющий ковчег со Святыми Дарами. Воздух был густой и тяжелый от ладана. Человек преклонил колени вместе со всеми. Он вздрогнул от первого аккорда гимна Пресвятой Деве, пропетого спрятанным в вышине хором, и посмотрел вверх. Слева от него, сквозь оконный витраж с изображением святого Франциска Ксавье, светило вечернее солнце, рисуя красный узор на рясе стоявшего перед ним священника. Трое рукоположенных священников преклонили колена у алтаря. Над ними горела огромная свеча. Он рассеянно посмотрел на нее. Справа от него еще один послушник дрожащими пальцами перебирал четки. Человек осмотрел его. На вид – около двадцати шести, волосы светлые, а серо-зеленые глаза нервно обшаривают храм. Их взгляды встретились, и старший бросил быстрый взгляд на алтарную свечу, будто привлекая к ней внимание. Человек тоже посмотрел на нее, и от этого у него побежали мурашки и зазвенело в ушах. Его заполнил все тот же незванный страх, что впервые появился полчаса назад на берегу. Дыхание участилось. Как же жарко было в храме! Слишком жарко, да и со свечой что-то было не так... не так... Неожиданно все поплыло. Его подхватил сосед слева.

– Держись, – прошептал он, – а то отложат церемонию. Тебе уже лучше? Сможешь выдержать до конца?

Он чуть кивнул и повернулся к свече. Да, никаких сомнений. Там что-то было, что-то плясало в язычке пламени, обрамленном случайным венком дыма. В храме чувствовалось присутствие чего-то злого – прямо на священном алтаре. Он почувствовал, как его пробрал холод, хотя он знал, что в помещении было тепло. Казалось, что его душу парализовало, но он не отрывал взгляда от свечи. Он знал, что он должен смотреть на нее. Больше было некому. Он не должен отводить глаз. Весь ряд послушников встал, и он тоже автоматически встал вместе с ними.

«*Per omnia saecula, saeculorum.* Аминь».

И вдруг он почувствовал, как исчезло нечто материальное – его последняя земная опора. Он сразу понял, что случилось. Его сосед слева потерял сознание от переутомления и нервного потрясения. И затем началось. Что-то неведомое и раньше пыталось подточить корни его веры; пыталось противопоставить его любовь к миру и любовь к Богу и использовало все возможные, как он думал, силы для борьбы с ним; но сейчас все было иначе. Ничто не отрицалось, ничего не предлагалось. Самое точное описание – как будто огромная масса навалилась на его сокровенную душу, масса без сущности, не духовная и не физическая. Его поглотило бесплотное облако зла, зла во всех проявлениях сразу. Он не мог думать, не мог молиться. Будто сквозь сон до него доносились голоса рядом стоявших, они пели, но были далеко – и он никогда еще не чувствовал себя таким далеким. Он находился на плоскости, где не было ни молитвы, ни милости Божьей; он понимал лишь, что вокруг него собираются силы ада, и сущность зла заключена в одной-единственной свече. Он чувствовал, что должен в одиночку бороться с бесконечностью соблазна. Он никогда не испытывал такого и даже не слышал от других о чем-либо подобном. Он знал только, что один человек уже не устоял перед этой массой, а он должен устоять. Он должен смотреть на свечу, смотреть и смотреть

– до тех пор, пока сила, заполнившая ее и затащившая его на эту плоскость, не исчезнет для него навсегда. Сейчас или никогда!

Ему казалось, что у него нет тела, и осталась лишь мысль о том, что его сокровенное «я» умерло. Это было глубже, чем он сам, что-то такое, чего он никогда раньше не чувствовал. Затем силы выстроились для последней атаки. Ему был открыт путь, уже избранный другим послушником. Он глубоко вздохнул, застыл в ожидании, и вот – удар! Вечность и бесконечность добра, казалось, были сокрушены и смыты вечностью и бесконечностью зла. Казалось, он беспомощно барахтается, уносимый потоком в черный бескрайний океан мрака, где волны становились все выше и выше, а тучи – все темнее и темнее. Волны мчали его к бездне, к водовороту вечного зла, а он машинально, незряче, отчаянно смотрел на свечу, смотрел на пламя, подобное единственной черной звезде на небосклоне отчаяния. И вдруг он почувствовал чье-то присутствие. Оно явилось слева и материализовалось в виде излучающего тепло красного узора на какой-то поверхности. И он узнал его! Это был оконный витраж святого Франциска Ксавье. Он мысленно ухватился за него, вцепился и с болью в сердце тихо воззвал к Господу.

«Tantum ergo Sacramentum, Veneremur cernui».

Слова гимна набирали силу, как победная песнь, ладан вскружил ему голову, добрался до самой его души, где-то скрипнула дверь, и свеча на алтаре погасла!

«Ego vos absolvo a peccatis tuis in nomine patris, filii, spiritus sancti. Аминь».

Вереница послушников направилась к алтарю. Разноцветные лучи света из окон смешались с блеском свечей, и в золотом ореоле причастие показалась человеку таинственным и сладостным. Наступило спокойствие. Иподьякон протянул ему Библию. Он положил на нее правую руку.

«Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа...»

Так принято *Роберт Ви Беспардонный*

Краткое содержание предыдущих глав

Джон Брабант, приемный сын нечистого на руку негодяя из Южной Америки Жюль Брабанта, без гроша в кармане приезжает в Нью-Йорк. С собой у него шесть рекомендательных писем, одно из них не подписано, не запечатано и вообще не написано. Все пять писем, включая и шестое, он вручает Джону Брабанту. Джон Брабант, юноша из Южной Америки, влюблен в прекрасную Бабетту Лефлер, дочь Жюль Лефлера, негодяя из Южной Америки. После того как Жюль вручил четыре из шести рекомендательных писем, которые Бабетта Брабант написала Жюлю Лефлеру, Джон осознает, что Жюль, Джон и Бабетта заключили союз против Брабанта и Лефлера, преследуя какую-то зловещую цель. Вручая ненаписанное письмо, он понимает, что из пяти писем, которые Жюль или, возможно, Бабетта вручили Брабанту, единственной подсказкой для решения загадки Лефлера и его связи с Бабеттой является именно оно. В этом месте Жюль и Лефлер встречаются в Центральном парке, и Жюль, вручая шестое или пятое письмо, обнаруживает, что Бабетта передала Брабанту письмо, которое Жюль вручил Джону. Озадаченный этим обстоятельством и, по сути, не понимая важности третьего или четвертого письма, он приглашает Брабанта на чай к себе в кабинет. Брабант думает, что Бабетта неким зловещим образом связана с Лефлером, и поэтому приехала из Южной Америки, где Джон работал на подпольной фабрике Лефлера. Он садится на пароход, следующий в Южную Америку, и на борту замечает Брабанта, также направляющегося на юг с некой тайной миссией. Они решают объединить силы и уничтожить второе письмо. А в это время на том же корабле втайне от них находится замаскированный под стюарда Брабант, вместе с первым, третьим и частью пятого рекомендательного письма. Когда пароход вошел в Суэцкий канал, из Каира отплыла шлюпка и на борт корабля поднялся Брабант. Все четверо замечают его прибытие, но опасаются за сохранность четвертого и частично шестого писем. Поэтому все решают между собой не упоминать ни, в частности, подпольных фабрик, ни вообще Южную Америку. А между тем чувства все еще находящиеся в Ньюпорте Бабетты и Лефлера крепнут с каждым часом. Об этом узнает Лефлер и, не желая, чтобы любовь связала Бабетту и этого человека, покидает свою подпольную фабрику, оставив вместо себя служащего по имени Брабант, и прибывает на север страны. Джордж встречает его в Такседо в качестве представителя фирмы Дюлонга и Петита, они садятся на поезд и мчатся в Такседо-парк, чтобы присоединиться к остальным и, если получится, перехватить шестое письмо, если только герцогиня его еще не написала. Прибыв в Нью-Йорк, они останавливаются в отеле «Ритц» и приступают к поискам Брабанта. Бабетта в своем будуаре перебирает полотенца, когда дверь неожиданно распахивается и входит Женестьева.

Глава XXXI

У Ван-Тайнов подавали чай. Гости группами по трое-четверо расположились на просторной лужайке, в тени грушевых деревьев. Бабетта и Лефлер заняли столик в укромном уголке. В солнечном свете полированное серебро чайного сервиза мерцало и отбрасывало зайчики, и она поведала ему всю историю. Когда она закончила, на минуту воцарилось мол-

чание; он потянулся к висевшей у него на боку маленькой перламутровой сумочке с сигаретами.

Вытащил одну, зажег спичку.

Она потянулась к нему.

Сигарета тотчас же зажглась.

– Ну и? – улыбнулась она; захлопала своими длинными ресницами – о да, прошлым летом в Голландии этим взглядом восхищался сам Рембрандт!

– Ну, вот... – уклончиво отозвался он и сменил позу, положив ногу на ногу; о да, ту самую ногу, которая столь часто вела Гарвард к футбольным победам!

– Как видишь, я всего лишь игрушка, – вздохнула она, – а я всегда ради тебя хотела стать чем-то большим, – почти прошептала она.

– В ту ночь, – импульсивно воскликнул он, – ты ведь сделала это?

Она покраснела:

– Может быть.

– И тогда, в лимузине Ченеи Уиддекомбса, когда...

– Тсс! – выдохнула она. – У слуг есть уши. О! Как я устала от этой жизни! Что я ем на завтрак? Всегда грейпфрут! Прогулки в экипаже – и где? – всё там же! Да разве это жизнь? О нет!

– Бедная девочка! – посочувствовал он.

– Как страшно, – продолжала она, – не есть ничего, кроме пищи, не носить ничего, кроме одежды, и не жить нигде, только здесь или же в городе!

Грациозным жестом руки она указала в сторону города.

Воцарилось молчание. Со стола на лужайку скатился апельсин, а затем опять перекатился на стул, где и остался лежать, весь оранжевый и светлый в лучах солнца. Они смотрели на него, не произнося ни слова.

– Ну почему, почему мы не можем пожениться? – начал он.

Она перебила:

– Прошу тебя, не надо! Неужели ты думаешь, что мне на жизнь будет достаточно твоих доходов? Я... я живу у конюшни, с вонючими лошадьми, с людьми, от которых пахнет лошадьми! О нет, ведь я такая эгоистка!

– Ты не эгоистка, дорогая! – перебил он.

– Да, эгоистка! – продолжала она. – Неужели ты думаешь, что я смогу вынести тайные насмешки тех, кто называет себя моими друзьями? О да, они будут насмехаться надо мной, когда увидят, как я еду в твоём «Саксоне». Нет, Гордон! Сегодня утром я выезжала в центр города по частям, в двух «Пирс-Эрроу»! Ведь мне это необходимо!

– Но, дорогая, – снова попытался вклиниться он, – я...

– Не надо извинений! Ты говоришь, что нам не нужна ложа в опере? Мы можем брать места в партере? Но я не могу спать нигде, кроме ложи! Я должна буду все время бодрствовать и выносить тайные насмешки тех, кто называет себя моими друзьями! О да, они будут надо мной смеяться!

Он на мгновение задумался; когда он клацнул губами, послышался знакомый резкий звук – он всегда так делал в детстве, когда они играли вместе в Центральном парке, тогда еще принадлежавшем его семье.

Он взял ее руку в свою – в ту самую руку, которая в те времена, когда его звали Красавчик Брабант и он был питчером, принесла Йелю множество бейсбольных побед. Ему вспомнились жаркие томные дни прошедшего лета, когда они читали друг другу вслух римскую историю Гиббона и трепетали над нежными пассажирами о любви.

На лужайку, спотыкаясь, вышла миссис Ван-Тайн – она споткнулась о траву, а затем споткнулась о чайный столик.

– Милые мои, что вы тут делаете? – добродушно, но с подозрением, спросила она. – Все вас ждут! – Она повернулась к Жюлю: – Все подумали, что это вы в шутку спрятали мячи для поло, и все на вас в ярости!

Он устало улыбнулся. Какое ему дело до мячей для поло и всей остальной позолоченной мишуры этого мира, от которого он отказался навеки?

– Они на кухне, в ящике с мылом, – медленно произнес он и неторопливо побежал к аллее своей знаменитой рысцей, благодаря которой он стал капитаном раннеров в Принстоне.

Бабетта сердито повернулась к матери.

– Ты его обидела! – воскликнула она. – Ты холоднокровная и жестокая, корыстная и бессердечная, огромная и жирная! – И она толкнула мать на чайный столик.

Солнце медленно скрылось с глаз, и еще долго после того, как все остальные одевались и раздевались к ужину, Бабетта сидела и смотрела на апельсин, катившийся с лужайки на стол; она думала о том, что он, пусть и на свой нехитрый манер, все-таки разгадал тайну жизни.

Глава XXXII

Бабетта, за которой следовал почтительный дворецкий с ее чемоданами, вышла из дома, оглянулась и заметила в дверях силуэт графини Дженавры.

– Счастливого пути! – воскликнула графиня.

Лефлер ждал у ворот, мотор его «саксона» урчал от нетерпения. Она села на переднее сиденье. Закутанная в меховые полости, одеяла, шубы, старую мешковину и хлопковую парусину, она бросила последний взгляд на дом. Блистательный стиль внешнего убранства эпохи Седрика I подчеркивался бликами, присущими раннеанглийским окнам. В дверном проеме эпохи Елизаветы виднелась внушительная фигура матушки Бабетты.

Дворецкий почтительно подтолкнул авто, и они отправились в зигзагообразный путь по длинному пустынному шоссе. Деревья клонились вниз, как бы стараясь им помешать, но тут же, как только они пролетали мимо, деревья выпрямлялись. Лефлер, держа ногу на сцеплении, чувствовал, как на него накатывает неудержимая радость, когда они, подпрыгивая вверх и вниз, вперед и назад, на безумной скорости подъезжали к городу.

– Джон, я знаю... – сказала она, затем умолкла и едва заметно вздохнула. – Что ты думаешь, – чуть слышно прошептала она и замолчала; слышно было, как скрипят ее зубы во рту.

– Анхлт, – сказала она, когда они миновали Бриджпорт.

И не успели они доехать до Гринвича, как он ей ответил:

– Гслапп!

Они проскочили город, показавшийся одним сплошным пятном. Он увеличил скорость. Откинувшись на его плечо, она почувствовала, как ее захлестывает волна глубокой и полной радости. Это была жизнь – и даже больше чем жизнь! Омывавший ее холодный воздух заставил напрячься и остыть все ее чувства. Внезапно, словно получив удар хлыстом, она почувствовала, как все – вся ее жизнь – резко выступает на фоне этой поездки. Она подумала, как было бы хорошо, если бы все на свете можно было решить с помощью жала холодной ночи и «тук-тук-тук» мотора!

До сих пор они шли на паре цилиндров. Теперь он запустил еще пару, и машина, на секунду накренившись на передний мост, вновь выправилась и помчалась с удвоенной скоростью. В суматохе переключения его правая рука освободилась и обвилась вокруг нее. Она не сопротивлялась.

Они мчались все быстрее и быстрее. Он еще сильнее нажал на рулевую передачу, и в ответ на его нажатие машина бросилась вперед, как послушный жеребец. Понимая, что они опаздывают, он запустил последнюю пару цилиндров. Машина, кажется, тоже поняла, что от нее требуется. Она остановилась, три раза пробуксовала на месте и понеслась вдвое быстрее прежнего.

Они ехали все дальше и дальше. Машина вдруг остановилась, и он инстинктивно, как опытный механик, понял: что-то случилось. Осмотрев машину, он увидел, что одна из шин проколота. Он стал смотреть, насколько серьезна поломка. Они наехали на булавку, и резина шины порвалась в клочья! Они принялись искать запасную шину. Искали на заднем сиденье, под машиной, в кустах у обочины. Шины не было нигде! Похоже, нужно было чинить старую. Джон зажал губами дыру, надул камеру и заткнул отверстие носовым платком.

Они продолжили свой путь, но через несколько миль неровности дорожного полотна понемногу протерли платок, и машина опять встала. Они пробовали все: листья, камни, куски асфальта. Бабетта даже пожертвовала жевательную резинку, чтобы залепить зияющую дыру, но через несколько миль протерлась и она.

Оставалось лишь одно: снять шину, въехать в город на трех колесах и нанять человека, который бы бежал рядом с машиной и поддерживал бы ее вместо четвертого колеса. Не успела эта мысль прийти им в голову, как они стали действовать. Три свистка и вопль «Гречка!» в одно мгновение собрали толпу деревенских мужланов, из которых выбрали одного поумнее – ему и доверили трудное дело.

Он занял место у брызговика, и они вновь отправились в путь. Вскоре скорость увеличилась до сорока миль в час. Мужлан, до этого легко бежавший рядом, теперь запыхался и с трудом за ними поспевал.

Темнело. Ощущая рядом с собой пальто Джона с воротником из крысиного меха, Бабетта страстно захотела посмотреть ему в глаза и почувствовать, как его губы касаются ее щеки.

– Джон! – прошептала она.

Он повернулся к ней. Несмотря на грохот мотора и громкое плебейское дыхание крестьянина, она услышала, как вздымается его сердце от нахлынувших чувств.

– Бабетта! – сказал он.

Она вздрогнула, тихо всхлипнула, и звук ее голоса потонул в реве ремня привода вентилятора.

Он с достоинством, не торопясь, но неумолимо, заключил ее в свои объятия, и

Следующая часть захватывающей истории мистера Беспардонного будет напечатана в июльском номере.

Предосторожность – прежде всего!

Сцена представляет собой коробку с красками. Большие тюбики зеленой и желтой краски составляют задник; по бокам склонились тюбики с синей краской, везде в художественном беспорядке разбросаны маленькие тюбики с зеленой вперемешку с оранжевой. Когда поднимается занавес; звучит негромкая музыка, которую исполняют странно выглядящие грустные личности, сидящие на первом плане, они одеты в стиле графических рисунков пером. Все они грустно смотрят на сцену, которая к этому моменту заполняется людьми, одетыми в пурпур с розовато-лиловыми пятнами на бледно-фиолетовом фоне.

Слышится припев, призванный вызвать смутное воспоминание о том, что все припевы в начале мюзиклов пишутся на староанглийском языке.

О, двигаясь шумливо по навощенной сцене,
Мы станем бледны, словно булки, о!
Бун-ги-вау!
С чертополохом на плече под ветром. Чертов вереск!

Пение сопровождается соответствующим танцем. Публика устало откидывается назад, ожидая, когда начнется действие.

(Выходит футбольная команда, переодетая в хористов, а также члены комитета по организации ежегодного бала в розовых трико.)

Реплика: «Пролистайте назад либретто; взгляните на Хэнка О'Дэя».

Песня.

Генри О'Дэй, Генри О'Дэй,
Ты был королем на третьей земле;
Цари, Каролинги и Хьюги Дженнинги —
Все были равны на судейском столе.
И ты кричал: «Гол!»
А это был страйк;
И слышали все:
«Я люблю тебя, Майк!»

и т. д.

(Пауза.)

(Выходят два самых обычных юноши, без одежды, густо намазанные зеленой краской и украшенные гавайскими юбочками из соломы.)

Песня.

Младшенький, сбривай усы, а то из-за тебя все молоко прокисло!

(На заднем плане по «Казино» туда-сюда бродят длинноволосые авторы, пробуя все на ошупь и чувствуя себя, словно Кайзер перед следующей атакой.)

Первый автор. Ну, что вы думаете – как им представление?

Его точная копия. Отлично! Не далее как пару минут назад до меня донесся смех из восемнадцатого ряда. Моя шутка о...

Первый автор. Твоя шутка, ха-ха-ха! Ну рассмешил... А разве моя строчка о... и т. д.

Первый композитор *(в сторону)*. Будто кто-то слушает диалоги...

Второй композитор. Как сильно выделяются мои песни!

Автор слов песен. Просто поразительно, как хороший текст может «вытянуть» бездарную мелодию! *(Прислушивается к молчащей публике и мысленно просит старшекурсника из первого ряда сдержать наконец одолевший его судорожный кашель хотя бы до тех пор, пока вновь не начнется диалог.)*

(За кулисами.)

Коринна. Сногшибательная девчонка в первом ряду!

Хлорина. Не дура...

Коринна. Ей понравились мои глазки!

Хлорина. погоди, в следующем припеве она разглядит твои ножки!

Фторина *(примадонна)*. Смотрите, не скомкайте мой выход!

Бромина. Первокурсники, хватаемся... Раз, два – потянули! *(Так вас-растак! Взяли! Взяли!)*

Йодина. Так, все – внимание! Внимание! Готовимся! Все быстро надели свои розовенькие шелковые плащики!

Все семейство галогенов *(одновременно)*.

Долой жеребиный балет!
Ха-ха, жеребиный балет!
Где ваши изгибы?
Глаза, как у рыбы!
Обманщики, мы презираем вас всех!

Восторженный юный преподаватель. Как прогрессивно! Ах! В новейшем духе, как на Вашингтон-сквер!

Средний студент *(который не знает, чего он хочет, и начинает скандалить, когда получает именно это)*. А где же сюжет?

Мораль представления: на всех и всегда не угодишь.

(ЗАНАВЕС)

Шпиль и горгулья

Опустился вечерний туман. Появился он откуда-то из-за луны, повис клоками на шпилях и башнях, а затем окутал все внизу; казалось, сонные вершины застыли в возвышенном стремлении к звездам. Кишевшие днем, словно муравьи, человеческие фигурки теперь походили на призраков, скользящих в ночи. Даже здания выглядели бесконечно более таинственно – внезапно возникали они прямо из тьмы, в виде контуров из сотен бледных квадратов желтого света. Где-то далеко колокол глухо пробил очередную четверть часа, и один квадрат света в лекционном зале восточной части студенческого городка на мгновение закрылся выходящей фигурой. Она замерла и приобрела очертания юноши, устало вытянувшего вперед руки и бросившегося ничком прямо в мокрую траву у солнечных часов. Роса омыла его глаза и смыла застрявший в них образ – образ, который за две только что окончившиеся напряженные экзаменационные недели неизгладимо запечатлелся в его памяти: помещение, в котором даже воздух, казалось, колыхался от нервного напряжения, где в абсолютной тишине двадцать человек отчаянно боролись со временем, обшаривая каждую клетку усталого мозга в поисках ускользающих слов и цифр. Распростершийся на траве юноша открыл глаза и оглянулся на три бледных пятна – окна зала, где шел экзамен. В его голове снова прозвучало: «До окончания экзамена осталось пятнадцать минут». Наступившая затем тишина прерывалась лишь щелчками контрольных часов и судорожным скрипом карандашей. Места освобождались одно за другим, все выше и выше росла стопка тетрадей на столе утомленного преподавателя. Юноша покинул помещение под скрип последних трех карандашей.

Вся его дальнейшая жизнь зависела от результатов этого экзамена. Если он его сдаст, то осенью станет второкурсником; если не сдаст, то студенческая пора закончится для него вместе с роскошным июнем. Пятьдесят пропущенных за первый безумный семестр семинаров привели к необходимости записаться на дополнительный предмет, который он только что и сдавал. Зимние музы, не любившие наук и ограниченные перекрестком 49-й улицы и Бродвея, украли не один час из пасмурного промежутка времени с февраля по март. А затем настали ленивые апрельские вечера, когда время ускользало незаметно и в долгих весенних сумерках его уж точно было никак не поймать. Так что июнь застал его врасплох. Каждый вечер до его окна доносилось раздававшееся над студенческим городком пение старшекурсников, и разлитая в нем поэзия вторгалась в его мысли, и он, все еще веря в свои утраченные и переоцененные способности, вновь склонялся над мстительными книгами. Сквозь скорлупу легкомыслия, покрывавшую его студенческое сознание, пробивалась глубокая и почти благоговеющая симпатия к этим серым стенам, готическим крышам и всему, что они столетиями символизировали.

За окном тянулась вверх башня, венчавшаяся устремленным вверх шпилем, острие которого едва виднелось в утренних небесах. Именно из-за контраста с этим шпилем он впервые задумался об изменчивости и незначительности перемещавшихся по студенческому городку фигур – конечно, если не думать о том, что они воплощали собой что-то вроде апостольской преемственности. Однажды на лекции – или в какой-то статье, или даже в разговоре – он услышал, что устремленная ввысь готическая архитектура больше всего подходит для университетов, и символизм этой мысли стал для него очень личным. Когда-то красота вечернего студенческого городка ассоциировалась у него с гуляющими по нему парадными и поющими толпами; но за последний месяц его воображение все чаще рисовало картины аккуратных газонов, тихих аудиторий и горящих допоздна перед сессией окон общежития, и видневшаяся в его окне башня стала символом его нового восприятия. Что-то недостижимо безупречное было в покатых линиях голого камня, что-то такое, что вело,

направляло и звало за собой. Шпиль стал идеалом. Он вдруг стал прилагать отчаянные усилия, чтобы остаться в университете.

– Ну что ж, вот и все, – вслух прошептал он и провел мокрыми от росы руками по волосам. – Все кончено.

Он почувствовал громадное облегчение. Последний залог был надлежащим образом вписан в последнюю тетрадь, и отныне его судьба более не находилась в его руках, а всецело зависела от коротышки преподавателя, кем бы он ни был: юноша никогда его раньше не видел. Что это было за лицо! Он был похож на одну из горгулий, дюжинами гнездившихся в нишах корпусов. Очки, выражение лица или манера кривить рот придавали всей его фигуре какую-то гротескную скособоченность, словно клеймо, выдававшее его происхождение от горгулий или же родство с ними. Сейчас он, наверное, ставил оценки... Юноша задумался – может, получится ответить на дополнительные вопросы или договориться о переэкзаменовке, если он получит «неуд.»? Но когда в аудитории погас свет, на дорожке рядом с ним возникли три фигуры; четвертая направилась на юг, в сторону города, и он перестал мечтать. Юноша вскочил и, встряхнувшись, как мокрый спаниель, бросился за преподавателем. Тот резко повернулся к нему, когда юноша пробормотал «Добрый вечер!» и пошел рядом.

– Ну и дождь, – произнес юноша.

«Горгулья» лишь неопределенно хмыкнул в ответ.

– Черт возьми, какой же сложный экзамен! – И этот разговор, как и разговор о погоде, прекратился сразу же, не успев начаться, поэтому юноша решил перейти прямо к делу: – Сэр, оценки будете выставять вы?

Преподаватель остановился и посмотрел ему прямо в глаза. Быть может, ему не хотелось вспоминать о предстоящей проверке работ, быть может, его всегда раздражали подобные разговоры, но, скорее всего, он просто устал, промок и хотел лишь поскорее очутиться дома.

– Зря вы думаете, что это вам поможет. Я знаю, что вы собираетесь мне сказать – что для вас это решающий экзамен и что вы просите меня еще раз проверить работу в вашем присутствии и так далее. Я это слышу уже сотый раз за последние две недели. И мой вам ответ: «Нет, нет и еще раз нет!» – слышите? Я вовсе не хочу знать, как вас зовут, и я не желаю, чтобы какой-то надоедливый мальчишка преследовал меня до самого дома!

Оба одновременно развернулись и быстро пошли в разные стороны, и юноша вдруг инстинктивно почувствовал, что этот экзамен он не сдал.

– Черт бы тебя побрал, «горгулья»! – пробормотал он.

Но он знал, что «горгулья» был здесь совсем ни при чем.

II

Каждые две недели он регулярно покидал Пятую авеню. Осенними вечерами, когда воздух так свеж, крыши блестящих автобусов выглядели особенно заманчиво. Увиденное с крыши проходившего мимо автобуса случайное лицо, встречный заинтересованный взгляд, румяная щечка приобретали масштаб настоящей интриги. Пять лет назад он был отчислен из университета; на досуге его занимали поездки на автобусах, походы в художественную галерею и несколько книг. Его особенно заинтересовала увиденная на первом курсе в руках пылкого молодого доцента книга Карлейля «Герои и почитание героев». Он практически ничего не читал. У него не было ни свободного времени, чтобы глубокомысленно раздумывать о многом, ни образования, чтобы досконально изучать что-то малое, поэтому вся его жизненная философия представляла собой сплав двух элементов: первым была скептическая конторская философия коллег, включавшая в себя подругу, должность с окладом в десять тысяч и – в конце пути – некую утопическую квартиру где-то вблизи Бронкса; вторым элементом

являлись три-четыре глобальные идеи, почерпнутые им у ясно выражавшегося шотландца Карлейля. Но он интуитивно догадывался – да так оно и было! – как плачевно узок весь его кругозор. Он не чувствовал никакой склонности к чтению; вкус его мог развиваться под внешним воздействием, что доказывал случай «Героев и почитания героев», однако до тех пор он находился, а теперь навсегда останется в той фазе, когда для него любая работа и любой автор нуждались в представлении и интерпретации. «Sartor Resartus» для него ничего не значил и никогда ничего значить не будет.

Вот почему понемногу Пятая авеню и крыши автобусов стали многое ему заменять. Они означали освобождение от раскрашенных варварских толп, бродивших по Бродвею, от скученной атмосферы центра города, с обязательными костюмами из синего сержа и окнами в решетках, и от тусклого общества среднего класса, наводнявшего пансион, в котором он жил. На Пятой авеню чувствовалась определенная респектабельность, которую он когда-то презирал; люди на крышах автобусов выглядели сытыми, они всегда приятно улыбались. Оставаясь символистом и идеалистом независимо от того, кто был его героем – распутный, но все же обаятельный второкурсник или же Наполеон, по Карлейлю, – он всегда искал в своей обычной жизни что-нибудь, за что можно уцепиться, за что бороться – что угодно, за что обычно борются религии, брак и жизненные философии. У него было чувство гармонии, и оно ему подсказывало, что его устаревшее эпикурейство, казавшееся столь романтическим в юности, на первом курсе университета, будет выглядеть чуждым и даже внушать отвращение в обычной городской жизни. Здесь оно было чересчур простым; оно ничего не значило без искупления, олицетворением которого был утренний поезд до университета, неизбежно в пять утра поджидавший молодых кутил; оно ничего не значило без искупления в виде казавшихся вечными утренних лекций и бедных на события будней. Обладать репутацией – хотя бы и такой, как у всех в этой толпе, – казалось чем-то стоящим; но с нью-йоркской точки зрения разгул подобал лишь соплякам да богатым до отвращения евреям, поэтому вульгарная богема не привлекала его совсем.

Но в этот вечер у него было хорошее настроение. Возможно, потому, что автобус, на котором он ехал, сверкал новенькой зеленой краской и его леденцовый глянец сумел обрадовать его. Он закурил и уселся поудобнее, дожидаясь своей остановки. В музее он посещал только определенные залы. Он никогда не интересовался скульптурой; ему не нравились итальянские мадонны и голландские кавалеры с их вечными перчатками и книгами на переднем плане. Лишь иногда, на какой-нибудь старинной картине, висевшей в самом углу, его взгляд вдруг улавливал солнечный отблеск на снегу не приметного зимнего пейзажа или же яркие краски и множество фигур батальной сцены, и тогда начиналось длительное, тщательное созерцание с частыми повторными посещениями.

Этим вечером он бесцельно шагал из зала в зал и вдруг перед какой-то фламандской жанровой сценой заметил листавшего каталог низенького человека в галошах, с огромными очками на носу. Он вздрогнул и несколько раз прошел мимо, силясь вспомнить. И вдруг он понял, что прямо перед ним стоит случайный инструмент его судьбы, «горгулья», коротышка преподаватель, который провалил его на решающем экзамене.

Как ни странно, воспоминание вызвало у него приятное чувство и желание вступить в беседу. Затем он почувствовал, что немного стесняется, но не ощутил никакой обиды. Он остановился и стал пристально смотреть на «горгулью» и тут в ответ на свой взгляд поймал недоуменный отблеск огромных очков.

– Прошу прощения, сэр, помните ли вы меня? – с надеждой спросил он.

Преподаватель лихорадочно моргнул:

– Простите, нет.

Он упомянул университет, и во взгляде его сверкнул оптимизм. В своих объяснениях он мудро решил на этом и остановиться. Преподаватель даже при всем желании не смог бы

упомнить всех студентов, которые представляли пред «Зеркалами Шалот», – так зачем тогда извлекать на свет Божий давно забытые неприятности?.. И кроме того, ему очень хотелось просто поболтать.

– Ах, да... Никаких сомнений! Мы с вами знакомы, вы уж простите мою сдержанность... Все-таки общественное место... – Он неодобрительно оглянулся вокруг. – Знаете ли, я ведь уволился из университета.

– Пошли на повышение? – Он тут же пожалел, что спросил, потому что коротышка поспешил пояснить:

– Я теперь преподаю в старших классах, школа в Бруклине. – Смутившись, молодой человек попытался сменить тему разговора, устремив взгляд на висевшую перед ними картину, но «горгулья» безжалостно продолжал: – У меня ведь... довольно большая семья... и, как мне ни жаль, пришлось вот бросить университет. К сожалению, вопрос жалованья тогда стоял на первом месте.

В последовавшей тишине оба, не отрываясь, разглядывали картину.

Затем «горгулья» спросил:

– Давно получили диплом?

– Так и не получил. Проучился всего немного. – Теперь он был уверен, что «горгулья» не имеет ни малейшего понятия, кто он такой; это его обрадовало, и он с удовлетворением отметил, что собеседник наверняка не имеет никаких причин сторониться его компании. – Вы уже все посмотрели?

«Горгулья» ответил утвердительно, и они вместе отправились в соседний ресторан, где за чашкой чая с молоком и тостом с джемом позволили себе погрузиться в воспоминания об университете. Когда в шесть вечера на улицах начался час пик, они с непритворным сожалением попрощались, и коротышка, выворачивая свои коротенькие ножки в разные стороны, помчался за бруклинским поездом. Да, выглядело это очень смешно! Они говорили об университетском духе, о надеждах, которые сокрыты поросшими плющом стенами, о тех пустяках, которые становятся тебе родными лишь после того, как покидаешь альма-матер. «Горгулья» немного рассказал о себе: чем он сейчас занимается, какие холодные и чопорные люди его теперь окружают. Он мечтал, что когда-нибудь вернется, ну а пока что надо кормить детей (собеседник тут же представил себе выводок разевающих пасти юных горгулий), и ясно, что придется потерпеть еще несколько лет. Но сквозь все его мечтательные разговоры просматривалась удручающая неизбежность: он будет учить бруклинских старшеклассников до тех пор, пока последний звонок не призовет его в последний класс. Да, иногда он там бывает. Его младший брат – доцент университета.

Вот так они и поговорили, разделив и тост, и изгнание. Вечером дряхлая старая дева, сидевшая за столом слева от него, спросила, какой, по его мнению, университет будет достоин вывести в мир ее подающего надежды племянника. И неожиданно для себя он разговорился. Он говорил о прочных связях, о студенческом братстве и, уходя из-за стола, мимоходом упомянул о том, что на следующей неделе сам собирается на денек съездить в альма-матер. Он не смог заснуть и размышлял до тех пор, пока рассвет не окрасил серым стулья и столбики кровати.

III

В вагоне было жарко и душно, в воздухе застыло множество запахов, обычных в стране иммигрантов. Вокруг красных плюшевых сидений сгустились пылевые облака. В курящем вагоне было еще ужаснее – грязный пол и спертый воздух. Так что мужчина уселся на скамейке у приоткрытого окна и вздрагивал, когда туда влетали клубы дыма. Мимо пронеслись огни, из-за демократической неразборчивости тумана одинаково дрожащие и рас-

сеянные – что в городках, что на фермах. Каждая станция, которую объявлял кондуктор, отзывалась в сердце мужчины знакомым именем. В памяти кружились воспоминания одного года, он вспоминал и время, и обстоятельства, когда ему доводилось слышать эти названия. Одна из станций невдалеке от университета имела для него особое значение благодаря многим чувствам, которые он испытал близ нее в студенческую пору. Он вспомнил, как все это было. В сентябре, сразу после поступления, именно здесь он разволновался сильнее всего. Когда в ноябре он возвращался после проигранного футбольного матча, эта станция стала символом уныния в том приунывшем университете, куда он направлялся. В феврале она стала точкой, где необходимо было просыпаться и собирать себя по частям, а когда он проезжал ее в последний раз, в июне, у него вдруг екнуло сердце, ведь это был последний раз! Когда поезд тронулся и раздался стук колес, он выглянул в окно и стал думать, что же он чувствует. Как ни странно, к нему вернулось первое впечатление: он почувствовал тревогу и неуверенность.

Несколько минут назад он увидел, что впереди, в трех рядах от него, сидит коротышка преподаватель, но молодой человек не стал к нему подсаживаться и даже не окликнул его. Он не желал ни с кем делить впечатлений этой поездки.

Они остановились у платформы. Крепко сжимая саквояж, он спрыгнул с поезда и по привычке сразу же повернул к широкой лестнице, ведущей в студенческий городок. Но сразу же остановился и, поставив саквояж на землю, огляделся вокруг. Погода была типичной для этих краев. Вечер походил на вечер его последнего экзамена, разве что не такой насыщенный и не такой горький. Неизбежность уже стала реальностью с оттенком привычного принуждения, против которого ничего не попишешь. Если раньше дух шпилей и башен вызывал у него трепет и превращал его в молчаливо покорное и всем довольное существо, то теперь он внушал ему благоговейный страх. Если раньше он осознавал лишь свою непоследовательность, то теперь видел собственное бессилие и бездарность. Впереди виднелись силуэты башен и зубчатые стены зданий. Поезд, с которого он только что сошел, запыхтел, свистнул и дал задний ход; отсоединили тормозной вагон; несколько скромных бледных городских парней исчезли в ночи, бесшумно покинув станцию. А перед ним, не смыкая глаз, дремал университет. Он почувствовал нервное возбуждение, которое, вполне возможно, было лишь размеренным стуком его сердца.

Неожиданно на него кто-то налетел, чуть не сбив с ног. Он обернулся и в дрожащем свете дугового фонаря его взгляд упал на коротышку преподавателя, трусливо косившегося на него из-под горгульих очков.

– Добрый вечер.

Его – без особого удовольствия – узнали.

– Ах, это вы... Приветствую. Какой туман! Надеюсь, я не сильно вас ушиб?

– Нет, пустяки. Я просто замечтался. Тут удивительно спокойно. – Он замолчал и подумал, что, наверное, смотрится сейчас слегка надменно.

– Почувствовали себя опять студентом?

– Просто решил прогуляться, осмотреться. Может, и с ночевкой. – Прозвучало это как-то натянуто. Хотелось бы ему знать, почувствовал ли это собеседник?

– Правда? И я тоже. У меня тут брат работает, он доцент – я вам рассказывал? У него и заночую.

Молодому человеку на мгновение отчаянно захотелось, чтобы и его тоже пригласили «на ночлег»:

– Нам не по пути?

– Увы, нет. – «Горгулья» неловко улыбнулся.

– Ну что ж, тогда доброй ночи.

Говорить было больше не о чем. Не мигая, он смотрел, как исчезает коротышка, забавно выворачивая свои смешные коленки.

Прошло несколько минут. Поезд не издавал ни звука. Неясные очертания на платформе станции теперь утратили контуры и окончательно смешались с фоном. Он остался один, лицом к лицу с духом, который должен был повелевать всей его жизнью, с матерью, которую он отверг. Это был поток, куда он когда-то бросил камень, слабый всплеск от которого давным-давно исчез. Отсюда он ничего не взял и ничего здесь не оставил – ничего? Его взгляд медленно пополз вверх, все выше и выше, пока не достиг точки, где начинался шпиль, а за взглядом последовала и душа. Но и взгляду, и душе мешал туман. Стремиться ввысь, как шпиль, он не мог.

По грязной тропинке прошлепал опоздавший первокурсник в громко шуршащем плаще. Чей-то голос произнес обязательную в ночь перед экзаменом формулу в адрес неизвестного окна. В его сознание неожиданно ворвались сотни слабых звуков скрытого туманом движения.

– Боже мой! – вдруг воскликнул он и вздрогнул от звука собственного голоса в тишине.

Он кричал от невыносимого чувства абсолютной неудачи. Он понял, что со всем этим у него нет ничего общего! Даже «горгулья» – бедный усталый маленький халтурщик – был вплетен в ткань этой системы гораздо прочнее, чем он сам, даже в своих мечтах. Горячие слезы беспомощного гнева застлали ему глаза. Не было никакой несправедливости – была лишь молчаливая и глубокая тоска. Единственные слова, которые могли бы очистить его душу, ждали его в глубине непознанного, прямо перед ним, – ждали его там, где он никогда их не услышит, куда он никогда не сможет попасть. Все так же лил дождь. Еще минуту он неподвижно стоял, свесив голову и сжав кулаки. Затем развернулся, подхватил саквояж и пошел к поезду. Паровоз запыхтел, дремавший в углу кондуктор сонно кивнул ему, единственному пассажиру опустевшего вагона. Он устало опустился на красное плюшевое сиденье и прижался горячим лбом к мокрому окну поезда.

Тарквиний из Чепсайда

Шум бегущих шагов: темп задают мягкие подошвы легких туфель из дорогой цейлонской кожи; за ними, на расстоянии сотни ярдов, следуют высокие ботинки на прочной толстой подошве, две пары, темно-синие, с позолотой, отражающей лунный свет резкими неясными отблесками. На одну мучительную секунду легкие туфли появились в лунном свете, а затем устремились в темный лабиринт аллей, оставив за собой во тьме лишь неясный шум. Неловко спотыкаясь, на бегу проклиная лондонские закоулки, появляются высокие ботинки; блестят обнаженные клинки. Легкие туфли подбегают к воротам и продираются сквозь живую изгородь. Высокие ботинки тоже подбегают к воротам и продираются сквозь живую изгородь. Вдруг впереди возникает ночной дозор: двое солдат с пиками, свирепые с виду, как и положено ветеранам битв в Кале и Испании. Но никто не зовет на помощь. Преследуемый, задыхаясь, не падает у их ног, судорожно хватаясь за кошель; преследователи тоже не поднимают шум – легкие туфли, как ветер, проносятся дальше. Стражники чертыхаются, останавливаются, оглядываются, а затем зловеще скрещивают пики над дорогой. В небе стремительно появляется туча, улочка окутывается тьмой.

И снова бледный свет луны касается карнизов и крыши; погоня продолжается, но один из тех, кто в высоких ботинках, теперь оставляет позади себя темный след, пока прямо на бегу, наспех, не перевязывает рану сорванным с шеи дорогим кружевом.

Стражникам сегодня не повезло. Это было дьявольское дело – кажется, тот, кто был еле виден впереди, тот, кто перескочил через забор у калитки, и был самым дьяволом. Больше того, беглец явно чувствовал себя как дома в этой части Лондона, созданной, казалось, нарочно для его низких целей: дорога становилась все уже, а дома – все ниже и ниже, создавая идеальные закоулки для драк, убийств и внезапных смертей. Так и бежали они по зловещим извилистым тропинкам, куда даже свет луны проникал лишь в виде малых пятен и отблесков. Преследуемый, в крошечной тьме уже потерявший свою короткую кожаную куртку, истекая потом, стал осматриваться вокруг. И тотчас же замедлил бег, отбежал немного назад и нырнул в самую темную и узкую боковую аллею. Через пару сотен ярдов он остановился и втиснулся в нишу в стене, съездившись и затаив дыхание, превратившись в едва заметное в темноте гротескное изваяние.

Не добежав до него двадцати ярдов, преследователи остановились, и он услышал, как они зашептались:

– В тридцати ярдах от нас!

– Да, я все время слышал его; он остановился.

– Он спрятался!

– Будем держаться вместе, и, клянусь Пресвятой Девой, мы прикончим его!

Голоса смолкли, но обладатель легких туфель не стал ждать продолжения беседы. Услышав осторожные шаги в своем направлении, он в три прыжка пересек аллею, подпрыгнул, лишь на мгновение задержавшись на вершине стены, как огромная птица, – и исчез, будто голодная ночь мгновенно проглотила его.

* * *

Питер Кэкстер много читал – как он недавно понял, даже слишком много. Несмотря на юный возраст, зрение его становилось все хуже и хуже, а живот – все больше и больше. Его – высокого, плохо сложенного и ленивого от природы – Кембридж щедро наделил ясными стимулами к учению, а также амбициями, тонко распыленными по всем предметам Елизаветой, милостью Лютера королевой Англии. Питер совершил довольно неудачное путеше-

ствие по морю, сохранил в памяти для будущих внуков гору анекдотов елизаветинских времен и в настоящий момент не без труда перешел к забытым было книгам. Что за книга была перед ним в эту ночь! В дрожащем свете свечи перед ним лежала «Королева фей» Эдмунда Спенсера.

Легенда о Бритомарте, или О целомудрии

*Мне не хватает слов, чтобы воспеть
Великую из многих добродетель,
Что «целомудрием» зовется в мире...*

На лестнице послышался звук торопливых шагов, и в комнату ворвался судорожно дышавший, на грани обморока, человек.

– Питер, – выпалил он, – мне надо спрятаться! Я попал в переделку – меня ждет смерть, если те двое, которые сюда бегут, найдут меня!

Питер не удивился. Его гость не впервые испытывал разного рода затруднения, доверяя ему себя из них выпутывать. Кроме того, гость – когда дыхание его превратилось из судорожного в просто учащенное – почти успокоился и не выглядел виноватым. Случайный наблюдатель отметил бы, что недавнее деяние вызвало у него лишь прилив гордости.

– Два безмозглых дурака с большими клинками гоняли меня по всему Лондону, как кролика!

– Точнее, в забеге участвовали три дурака, – с иронией заметил Питер, вытащив из угла шест и открыв потолочный люк, ведущий на небольшой чердак.

Он указал наверх. Гость присел, подпрыгнул, ухватился за край, с усилием подтянулся и исчез в темноте. Крышка люка встала на место, засуетились разбежавшиеся крысы, послышалось приглушенное проклятие – и наступила тишина. Питер взял «Легенду о Бритомарте, или О целомудрии», уселся и стал ждать.

Через пять минут на лестнице послышался шум, а затем раздался громкий стук в дверь. Питер вздохнул, положил книгу и встал, взяв свечу:

– Кто там?

– Открывай, или мы ломаем дверь!

Питер чуть приоткрыл дверь, высоко держа свечу, и произнес чужим, робким и ворчливым голосом:

– Неужели мирный житель Лондона не может даже ночью хоть часок спокойно отдохнуть от всякого хулиганья?

– Открывай, болтун, и побыстрее, или в эту щель сейчас войдет мой клинок!

На узких, залитых лунным светом ступенях покачивались огромные тени двух кавалеров; в свете свечи Питер быстро оглядел их. Это были джентльмены в богатом платье, явно одевавшиеся второпях. Одному было лет тридцать; от переживаний он, казалось, почти потерял голову. Другой, с раной на руке, был моложе и выглядел более спокойным и уравновешенным, хотя лицо его не сулило ничего хорошего. Питер позволил им войти.

– Здесь кто-нибудь прячется? – свирепо спросил старший.

– Нет.

– По лестнице кто-нибудь пробегал?

Питер ответил, что десять минут назад на площадке ниже действительно кто-то бежал и пытался попасть за дверь, но, кто бы это ни был, у него ничего не получилось, и он ушел. Не будучи ли они так любезны объяснить, кого они ищут и зачем?

– Совершенно насилие над женщиной! – медленно произнес младший. – Мне она сестра, а ему – жена. Кто мы, не имеет значения. Если ты укрываешь этого человека, это будет стоить тебе жизни.

– Вы знаете, кто он – этот человек? – быстро спросил Питер.

Старший сел на стул и обхватил голову руками:

– Господи... Мы не знаем даже этого!

Питер вздрогнул. К такому трагическому повороту он не был готов.

Младший обыскал обе комнаты Питера, тыкая мечом всюду, где могло быть хоть что-то подозрительное. Он заметил люк:

– Что там?

– Им никто не пользуется, – ответил Питер. – Там чердак, а люк заколочен.

Неожиданно он вспомнил о шесте и затаил дыхание, но человек отвернулся, закончив обыск.

– Чтобы залезть туда без лестницы, надо минут десять хотя бы, если он, конечно, не акробат.

– Акробат... – как эхо, повторил старший.

– Пошли.

Они тихо удалились, печальные и бессильные, а Питер закрыл за ними дверь и запер ее на засов. Выждав десять минут, он взял шест и сдвинул крышку люка. И когда гость вновь предстал перед ним, он начал:

– Ты всегда был коварен и жесток, как дьявол, – твою жизнь нельзя представить без выпивки, женщин и крови, – но услышать своими ушами хотя бы намек на то, что мне говорили эти двое...

Гость перебил его:

– Питер, тебе не понять. Ты не раз помогал мне. И должен помочь мне сейчас! Ты меня слышишь? Я не хочу с тобой спорить. Мне нужны перо, бумага и твоя спальня, Питер! – Он разозлился. – Питер, неужели ты пытаешься мне мешать? По какому праву? За то, что я совершил, я отвечу лишь перед самим собой!

Не сказав ни слова больше, он взял со стола перо, чернила и кипу бумаги и прошел в соседнюю комнату, прикрыв за собой дверь. Питер вздохнул, пошел было за ним, но передумал – вернулся, взял «Королеву фей» и сел на стул.

В четыре утра на улице стало холодно и влажно, а в комнате – темнее. Питер же, низко склонившись над столом, напряженно следил за сюжетом «Королевы фей». Снаружи, с узкой улицы, слышалось громкое фыркание драконов, а когда в пять утра заспанный подмастерье оружейника приступил к работе, эхо превратило громкий звон наколенников и кольчуги в шум марширующей кавалькады.

С первым лучом солнца появился туман, и, когда в шесть утра Питер на цыпочках подошел к своей спальне и открыл дверь, комнату заливал серо-желтый свет. С покрасневшими невидящими глазами, бледный, как смерть, гость обернулся к нему. Он писал, не оставиваясь, и на молитвенной скамье, на которой он писал, громоздились кипы исписанной бумаги, а по полу были разбросаны клочки почти нетронутых страниц. Питер тихо закрыл дверь и вернулся к своим сиренам. Шум шагов на улице, брюзжащие голоса соседских стай и глухой утренний шум подействовали на него расслабляюще, и он тяжело опустился на стул, а его засыпающий разум продолжал переваривать заполнявшие его беспорядочные образы. Вот он оседлал облако, а путь к небесам лежал по стонущим телам, поверженным под палящим солнцем. Вот он содрогнулся и двинулся вперед. А вот он очутился в лесу, где убил райскую птицу из-за ее перьев. Кто-то пытался обменять его душу на весь мир, и обмен состоялся! Он проснулся, вздрогнув от прикосновения горячей руки к плечу. В ком-

нате висел густой туман, а гость, стоявший рядом с кипой бумаги в руке, казался серым призраком, сотканным из воздуха.

– Прочти это, Питер, а потом убери куда-нибудь и не буди меня до завтрашнего утра!

Питер с любопытством взял листы. Гость растянулся на кушетке, ровно задышал и мгновенно погрузился в глубокий сон, лишь уголки его бровей нервно подрагивали.

Питер устало зевнул и взглянул на небрежно исписанную первую страницу, а затем негромко начал читать вслух:

Поругание Лукреции

*Из лагеря Ардеи осажденной
На черных крыльях похоти хмельной
В Коллодиум Тарквиний распаленный...*

Чувства и мода на пудру

Эта история не обладает никакой ценностью с точки зрения морали. Она о человеке, который два года воевал, затем на два дня вернулся в Англию, а после этого опять отбыл в неизвестном направлении. К сожалению, это одна из тех историй, которые просто обязаны начинаться с начала, но до начала необходимо кое-что рассказать.

Два брата, сыновья лорда Блэнчфорда, приплыли в Европу в числе первой сотни тысяч добровольцев. Старший, лейтенант Ричард Харрингтон, был убит во время одного из первых, бесславных, маршей; младший, лейтенант Клэй Харрингтон Сайнфорс, и есть главный герой этого рассказа. К началу рассказа он уже капитан Семнадцатого Сассекского полка, и то безнравственное, о чем, собственно, и пойдет речь, произошло именно с ним. Читатель должен обязательно запомнить, что к тому моменту, когда отец встретил его на Паддингтонском вокзале и повез на машине в город, герой не был в Англии уже два года. А кроме того, на дворе стояла ранняя весна тысяча девятьсот семнадцатого. Причинами произошедшего стали самые разные обстоятельства – ранения, радость от повышения по службе, встреча с семьей в Париже и даже то, что в двадцать два года всегда хочется казаться всем вокруг сгустком неутомимой жизненной энергии. Кроме того, большинство его друзей и ровесников были убиты на фронтах войны, и он испытывал ужас, чувствуя, какие бреши остались после их ухода в его Англии... Ну что ж, теперь можно начинать.

За обедом он почувствовал себя слишком мрачным и молчаливым, что в данной ситуации не подобало. Его сестре пришлось развлекать веселой болтовней всех сидящих за столом: лорда и леди Блэнчфорд, его самого и двух чистеньких тетюшек. Новая манера поведения сестры с непривычки показалась ему сомнительной. Чересчур громко и театрально – да и в таком количестве пудры красота сестры совершенно точно не нуждалась. Ей нельзя было дать больше восемнадцати, и косметика на ней смотрелась совершенно инородно. Он не был противником косметики вообще: он понимал, что, увидев, например, мать без пудры на лице, он был бы шокирован ничем не прикрытым видом ее морщин – однако молодость Клары не нуждалась в столь красочном подчеркивании. Кроме того, столь вызывающе неестественный грим он видел впервые, и поскольку в семье его было принято общаться откровенно, он сразу же и во всеуслышание высказался по этому поводу.

– Тебя почти не видно за этой пудрой, – сказал он как бы между делом, стараясь не обидеть сестру; она вскочила и подбежала к зеркалу.

– Да нет, все в порядке, – сказала она, успокоившись и вернувшись к столу.

– Я всегда думал, – чуть рассердившись, продолжил он, – что мужчина не должен замечать, пудрилась ли дама вообще!

Сестра и мама обменялись взглядами и заговорили одновременно.

– Но знаешь ли, Клэй, в наши дни... – начала Клара.

– Действительно, Клэй, – вмешалась мать, – ты наверняка не знаешь, как изменились стандарты, поэтому лучше не критикуй. Сейчас все одержимы страстью пудриться чуть больше, чем раньше.

Клэйтон рассердился еще сильнее:

– И что, теперь все дамы на танцах у миссис Северанс раскрашены точно так же?

Глаза Клары грозно блеснули.

– Да!

– Ну, тогда, наверное, мне там делать нечего.

Клара уже была готова взорваться, но, поймав взгляд матери, сдержалась и притихла.

– Клэй, я хочу, чтобы ты туда пошел, – торопливо заговорила леди Блэнчфорд. – Все будут рады увидеть тебя – пусть даже и не вспомнят, как тебя зовут. И давайте сегодня больше не будем говорить о войне и о косметике!

В конце концов он решил пойти. В десять за сестрой заехал какой-то моряк, а полчаса спустя за ними последовал и Клэй. Еще через полчаса он понял, что на сегодня с него достаточно. Ему казалось, что все шло не так, как должно бы идти. Ему вспомнились балы миссис Северане – какими степенными, организованными по всем правилам событиями они были! Вместе приглашались только те, кого нельзя было пригласить по отдельности. Теперь же все общество уже не представляло собой единое целое – это была какая-то странная смесь. Его сестра никоим образом не преувеличивала: практически на каждой девушке, как на торте, толстыми слоями лежала пудра. И те жеманницы, которые, как он помнил, получали удовольствие от бесед с юными викариями, с жаром обсуждая вопросы применения ладана в церковной практике и законности принуждения к добродетели, и те девицы, которые раньше выглядели ужасающе мужеподобными и говорили о танцах так, словно это развлечение для слабоумных, – все были здесь и выглядели так, будто только что, едва не утонув, вынырнули из-под воды! Как автомат, он танцевал с прелестницами, о которых мечтал всю свою юность, и в конце концов обнаружил, что это не доставляет ему никакого удовольствия. Он привык думать об Англии как о стране печали и аскетизма, но за вечер он не заметил ничего такого, и ему показалось, что ближе к концу градус атмосферы скорее упал до нарочитого веселья, нежели поднялся до сурового спокойствия. Даже в обильно украшенном позолоченной лепниной доме миссис Северанс царил дух танцплощадки, а не бала: гости приезжали и уезжали безо всякой пышности, и, что было совсем уж странным, ощущалась скорее нехватка приглашенных в возрасте, а не молодежи. Главной причиной его дискомфорта было нечто неуловимое – некое полувосторженное-полубеспокойное выражение на всех без исключения лицах.

В тот момент, когда он уже собрался уходить, в залу вошла Элеонора Марбрук. Он пристально посмотрел на нее и нашел, что она ни на йоту не изменилась. Ему показалось, что напудрена она была не так сильно, как все остальные, а когда он с ней заговорил, то почувствовал некое убежище в ее холодной красоте. Но ему все же показалось, что разница между ней и остальными была только в степени, а не в сути. Конечно же, он раздумал уходить, и около часа ночи они уже сидели рядом и смотрели друг на друга. Почти все гости разъехались, остались лишь офицеры и несколько девушек; сами хозяева совершенно не к месту громко беседовали с зажатой в угол молодой парой, выглядевшей так, словно им прямо сейчас нужно было срочно оказаться за несколько миль от этого места.

– Элеонора, – спросил он, – почему всё здесь выглядит как-то нарочито развязно, нарочито неряшливо?

– Это ужасно бросается в глаза, да? – согласилась она с ним, обведя залу взглядом.

– И кажется, никого не волнует! – продолжил он.

– Да, никого, – ответила она. – Но, дорогой мой, сидеть здесь и критиковать хозяев неприлично. А что насчет меня? Как я выгляжу?

Он критически ее осмотрел:

– В целом ты не слишком изменилась.

– Да, приятно слышать. – Ее брови укоризненно поднялись. – Ты говоришь так, словно я старая, всеми забытая тетушка, которая еще не оправилась после очередного семейного скандала.

Последовала пауза; затем он прямо спросил:

– Ты вспоминаешь Дика?

Ее лицо вдруг стало серьезным.

– Бедный Дик... Мы, кажется, были с ним помолвлены?

– Кажется? – изумленно переспросил он. – Ведь об этом знали все, и наши семьи тоже! Я помню, как лежал в постели и завидовал своему счастливому брату!

Она рассмеялась:

– Конечно, мы и сами думали, что помолвлены. Если бы не началась война, мы бы уже поженились; но, будь он жив, я сомневаюсь, что в такой обстановке мы бы даже заключили помолвку.

– Ты не любила его?

– Видишь ли, это здесь ни при чем. Возможно, он бы на мне не женился или я не вышла бы за него замуж.

Он приподнялся, и лишь ее упреждающее «Тссс!» заставило его сдержать крик изумления. К тому моменту, когда он смог взять себя в руки и вновь овладеть членораздельной речью, она уже танцевала с каким-то офицером. «Что она имела в виду? В момент высшего эмоционального возбуждения она... но хватит уже на сегодня думать об Элеоноре». Должно быть, он чего-то не понял – надо будет поговорить с ней еще. Конечно, так и есть, ведь если бы это было правдой, она бы не стала об этом говорить столь будничным тоном. Он взглянул на нее, чтобы узнать, на каком расстоянии от офицера она держится в танце. Ее светлые волосы практически лежали на плече партнера, а улыбающееся лицо находилось в каких-то дюймах от его лица. Все это лишь увеличивало раздражение Клэя. Когда он вновь оказался с ней в паре, она взяла его за руку, и прежде чем он сообразил зачем, они уже попрощались с Северансами и мчались куда-то в лимузине Элеоноры.

– Эта машина сделана в тысяча девятьсот тринадцатом году, – кто бы мог подумать до войны, что люди будут ездить в машинах четырехлетней давности!

– О, что за лишения! – иронично заметил он. – Элеонора, я хотел с тобой поговорить...

– И я с тобой. Поэтому я тебя и увела. Где ты живешь?

– Дома.

– Ну, тогда поехали на твою старую квартиру, на Грув-стрит. Ведь она все еще твоя?

Он не успел ничего ответить, а она уже приказала шоферу и, улыбнувшись, снова откинулась на сиденье машины.

– Элеонора, не можем же мы... Там невозможно разговаривать...

– Квартира не убрана? – перебила она его.

– Там убирают раз в месяц, по-моему...

– Ну, тогда все в порядке. Так даже лучше – не будет никакой разбросанной по диванам одежды, как это обычно бывает, когда мужчины живут одни. Дорогой мой, на вечеринке у лейтенанта Хотсана мы с Гертрудой Эвартс видели кучу грязного белья прямо посреди комнаты, – мы туда приехали первыми, и...

– Элеонора, – серьезно сказал Клэй, – на меня это вовсе не похоже.

– Я знаю, что не похоже, вот поэтому мы и едем в твою квартиру, чтобы там поговорить. Господи, неужели ты думаешь, что сегодня хоть кто-то придает хоть какое-нибудь значение месту, где происходит беседа, – если, конечно, это не телеграфный столб и не причал у моря?

Машина остановилась, и, прежде чем он смог подыскать подходящее возражение, Элеонора вышла на тротуар и взбежала по лестнице, где и объявила во всеуслышание, что будет стоять у двери до тех пор, пока он не соизволит выйти из автомобиля и впустить ее в дом. Ему пришлось подчиниться. Он пропустил ее вперед и, поднимаясь по лестнице, услышал в темноте ее негромкий смех. Толкнув дверь, он зажег свет, и в первый миг они оба замерли. На столе стояла фотография Дика. Он был снят в обычном костюме и выглядел таким же вселенски мудрым и утонченным, каким они видели его в последний раз. Первой зашевелилась Элеонора. Она прошла по комнате, подняв пыль подолом своего шелкового платья, и, опустив руки на стол, тихо сказала:

– Он был таким милым, а теперь его нет... – Она повернулась к Клэю. – Он никогда ни о чем серьезно не задумывался. И не беспокоился о том, что же будет там, дальше... Я сомневаюсь, что он когда-либо слышал слово «вечность». Он был так красив – рыжие волосы, голубые глаза... – Она замолчала и опустила на пуфик, стоявший перед печкой. – Разожги огонь, обними меня и давай поговорим.

Он послушно пошел искать дрова, а она сидела и говорила:

– Я не хочу ничего делать и даже не буду предлагать свою помощь, – я слишком устала. Уверена, что нам будет вполне уютно, если я просто буду сидеть и говорить, правда?

Стоя на коленях и держа в руках банку с керосином, он посмотрел на Элеонору и сказал вдруг охрипшим голосом:

– Расскажи мне немного об Англии... и немного о Шотландии. Расскажи мне, что тут происходило, какие-нибудь милые провинциальные дела и что-нибудь о женщинах... и о себе тоже... – Он вдруг замолчал.

Элеонора улыбнулась и присела на колени рядом с ним, зажгла спичку и поднесла ее к краю газеты, торчавшей из-под поленьев. Она повернула голову так, чтобы можно было прочесть написанное, пока еще не вся бумага почернела и превратилась в золу, и прочла вслух: «14 августа 1915-го. Налет цеппелинов», – и все, буквы исчезли в язычках пламени.

– Моя младшая сестра – помнишь ее – Кэтрин? Ну, Китти, с русыми волосами, она еще чуть шепелявила... Ее убило бомбой во время налета, ее и гувернантку, прошлым летом.

– Маленькая Китти, – печально произнес он, – много детей погибло, я слышал, очень много; не знал, что и она тоже. – Казалось, он был где-то далеко, в какой-то печальной стране.

Она торопливо сменила тему.

– Много, но сегодня мы не собирались говорить о смерти. Мы хотели притвориться счастливыми. Разве ты не видишь? – Она хлопнула его по колену. – Мы счастливы! Да! Почему ты только что был таким грустным? Ты расчувствовался, не так ли?

Его взгляд был все еще прикован к пламени, но, услышав это, он посмотрел на нее:

– Да, но лишь сегодня – впервые в жизни. А ты нет, Элеонора?

– Нет, я же романтик. Тут большая разница: чувствительный, сентиментальный человек уверен, что все когда-нибудь пройдет, а романтик надеется, что нет!

Он опять погрузился в себя, и она поняла, что он едва ли ее слушал.

– Пожалуйста, – придвинувшись, взмолилась она, – будь пай-мальчиком и обними меня!

Он робко протянул к ней руку, и она тихо рассмеялась, когда он нерешительно отвел руку назад и, склонившись, стал говорить в огонь:

– Скажешь ты мне наконец, во имя чего и зачем мы находимся здесь? Понимаешь ли ты, что это была настоящая холостяцкая квартира до тех пор, пока все холостяки не обвенчались со смертью там, за проливом? Одно это может тебя скомпрометировать!

Она взялась за португепю и притянула его к себе так, что серые глаза Клэя смотрели прямо ей в глаза.

– Клэй, Клэй, не пользуйся этими милыми обветшалыми словами! Скомпрометировать! Что это за слово в сравнении со словами Жизнь, Смерть, Родина или Любовь? Заметь – они все с большой буквы! Вот какие слова сейчас у всех на устах. Скомпрометировать! Клэй, я думаю, что сейчас этим словом пользуется одна лишь прислуга. – Она рассмеялась. – Клэй, ты и наш дворецкий – единственные люди в Англии, которые все еще пользуются глаголом «скомпрометировать». Свою горничную неделю назад я уже отучила! Как странно... Клэй, посмотри на меня.

Он посмотрел и наконец-то увидел то, что должен был давно заметить: ее порывистую красоту. Она улыбалась, чуть приоткрыв губы, прическа была в легком беспорядке.

– Чертовка! – пробормотал он. – Ты начиталась Толстого и поверила ему!

– Я?! – Ее взор был прикован к огню. – Да. Может быть.

Она вновь посмотрела на него и вернулась к реальности.

– Знаешь, Клэй, нужно перестать смотреть на огонь. Он заставляет нас думать о прошлом, а сегодня мы должны забыть и прошлое, и будущее, и само время, – мы должны помнить лишь о настоящем, лишь о том, что ты и я сейчас здесь и что больше всего на свете я устала от портупей, которая вливается мне в щеку.

Но он все еще мысленно находился за десять лет до этого момента; перед его глазами стоял Дик, и он принялся высказывать свои мысли вслух:

– Ты часто рассказывала Дику о Толстом, и я всегда думал, что такой красивой девушке не идет быть столь умной.

– Но я на самом деле такой и не была, – призналась она, – я говорила это, чтобы произвести впечатление на Дика.

– Кроме того, я был потрясен, когда прочел книгу Толстого – кажется, про какую-то сонату...

– «Крейцера соната»? – подсказала она.

– Да. Я решил, что юным девушкам Толстого читать не подходит, а уж тем более рассказывать о нем Дику. Он часто подкалывал меня этим. Мне было девятнадцать.

– Да, мы думали, что ты настоящий маленький ханжа. Мы считали себя гораздо более прогрессивными, чем ты!

– Но ведь тебе было всего двадцать, разве нет? – неожиданно спросил Клэй; она кивнула в знак согласия. – И ты больше не веришь Толстому? – с каким-то надрывом продолжил он.

Она покачала головой и с грустью посмотрела на него:

– Позволь, я совсем ненадолго облокочусь о твое плечо?

Он приобнял ее, ни на секунду не отводя от нее взгляда, и неожиданно почувствовал себя в ее власти. Клэй не был святым, но с женщинами всегда вел себя по-рыцарски. Возможно, именно поэтому он почувствовал себя сейчас таким беззащитным. Его обуревали самые простые чувства. Он знал, что поступает не так, как должно, и одновременно страстно желал эту женщину, это существо, сотканное из шелка и самой жизни, столь близко подкравшееся к нему. Он сознавал, почему не должен был желать ее, но неожиданно увидел, что любовь так же сильна, как и жизнь, и смерть, и она знала, что он это понял, и была этому рада. Молча, без единого движения они сидели и смотрели на огонь.

II

На следующий день в 14:20 Клэй пожал руку своему отцу и сел на поезд, отходивший в Дувр. В углу купе с каким-то романом уютно устроилась Элеонора; как только он вошел, она улыбнулась и захлопнула книгу.

– Да, – начала она, – я почувствовала себя настоящим шпионом, когда кралась сюда, закутанная в целые километры вуали, ускользя от воодушевляюще безгрешного взора твоего батюшки!

– Он бы все равно не обратил на тебя внимания, – ответил Клэй, усаживаясь на диванчик. – Он был очень взволнован, несмотря на внешнюю грубость. Ты же знаешь, что на самом деле он отличный парень. Жаль, что я нечасто с ним вижу.

Поезд тронулся; униформы железнодорожников, стоявших на перроне, теперь казались темными, увядшими листьями, уносимыми сырым осенним ветром вдаль, к побережью холодного моря.

– Нам с тобой действительно по пути? – спросил Клэй.

– Да, до Рочестера. Полтора часа. Я безумно хотела увидеться с тобой, пока ты не уехал, – что, конечно, не совсем красиво. Но, видишь ли, я чувствую, что ты не очень понял, что вчера произошло, и смотришь на меня так... – она запнулась, – словно я какое-то исключение.

– Я был бы настоящим ослом, если бы хоть на миг позволил себе думать о тебе в таком духе.

– Нет-нет, – весело сказала она, – я иногда и романтик, и психолог в одном лице. Конечно, анализ убивает всю романтику, но к этому я готова, лишь бы оправдаться в твоих глазах.

– Но я ни в чем тебя не виню... – начал он.

– А я знаю, что ни в чем не виновата, – перебила она, – но все равно я это сделаю, и ты увидишь слабое место в своих рассуждениях. Нет, Золя я не верю!

– Я ничего о нем не знаю.

– Дорогой мой, Золя утверждал, что окружение – это самое главное, но он рассматривал семьи и расы, а здесь мы имеем дело с классами.

– Какими классами?

– Нашим классом.

– Мне давно уже хотелось об этом послушать, – сказал он.

Она села с ним рядом и, глядя на убегающий вдаль пейзаж за окном, принялась рассуждать:

– Перед войной говорили, что Англия – это единственная в мире страна, где женщины никак не защищены от мужчин своего класса.

– Ты имеешь в виду ни к чему не обязывающие интрижки? – вставил он.

– Да. Дорогой мой, это до сих пор актуально! Видишь ли, это не причина, а всего лишь следствие. Идея физического здоровья как основного достоинства стала господствовать в обществе как раз на излете Викторианской эпохи. В университетах перестали пить. И даже ты как-то сказал мне, что по-настоящему плохие люди никогда не бывают пьяницами, предпочитая сохранить себя в полном здравии для этических и интеллектуальных преступлений.

– Да, пьянство ушло вместе с веком Виктории, – согласился он. – Пили обычно те парни, которые собирались впоследствии стать викариями, сея разумное, доброе, вечное при помощи самого ортодоксального пьянства.

– Ну вот, – продолжала она, – должна была найтись какая-то отдушина – и она нашлась, и ты знаешь, в какой форме, раз уж сам заговорил о «ни к чему не обязывающих интрижках». А затем на арене появился мистер Марс. Видишь ли, пока существовало некое моральное давление, прогнившая часть общества была изолирована от здоровой. Нельзя сказать, что болезнь не распространялась, но этот процесс был замедленным, некоторые даже брали на себя труд о чем-то задуматься... А когда мужчины стали уходить и не возвращаться, когда женитьба стала вопросом, решаемым в течение получаса, и вдовы наводнили Лондон, а все обычаи оказались устаревшими – вот тогда все и стало потихоньку меняться.

– Как это началось?

– Началось с того, что все мужчины в одночасье ушли на войну – и у женщин пропала гордость. Мужчины не возвращались обратно, а женщины были предоставлены сами себе.

Он вздохнул:

– Так вот с чего все пошло! А я и не догадывался...

– О, сначала никто ничего не замечал! Этого не было видно при свете дня – оно росло во мраке. А впоследствии, видишь ли, уже пришлось ткать некую сентиментальную мантию, чтобы все прикрыть. Раз уж все так вышло, нужно было какое-нибудь обоснование. Почти все девушки либо уже носили брюки и целыми днями водили автомобили, либо наводили боевую раскраску и уходили танцевать с офицерами ночи напролет.

– И какой же высокий принцип удостоился чести все это осенять? – саркастично поинтересовался он.

– Видишь ли, мы наткнулись на парадокс. Я могу продолжать говорить и дальше в том же духе, притворяясь, что это – всего лишь холодный анализ; могу даже иронизировать на эту тему. Но я сама при этом нахожусь под теми же чарами, что и любая невзрачная машинистка, которая проводит выходные в Брайтоне со своим кавалером, которому на следующий день предстоит отплыть с ротой таких же новобранцев.

– Жду не дождусь услышать, что же это за чары?

– Это – Самопожертвование, причем с прописной буквы. Мужчины уходят умирать ради нас. Мы могли бы быть их женами – но мы ими не стали, – поэтому мы ими будем, пока у нас хватит сил. Вот и вся история.

– Боже мой!

– Молодой офицер приезжает в отпуск, – продолжила она, – и мы должны сделать так, чтобы он хоть ненадолго забыл, откуда он приехал. Мы должны создать для него иллюзию, что люди здесь, в тылу, его брата, что он приехал домой и что здесь его ждут. Ты, конечно, понимаешь, что в низших классах вещи такого рода провоцируют демографический взрыв. И распространится ли этот закон на нас, зависит только от продолжительности войны.

– А как насчет старушки морали, образа женщины и тому подобного? – робко начал он.

– Все это поднялось на такую недостижимую высоту, мой дорогой, что все об этом давно забыли. С практических позиций можно говорить только о том, что для расы будет лучше, если офицеры будут оставаться в пределах собственного класса. Подумай о следующем поколении французов!

Клэй неожиданно почувствовал, что задыхается в этом купе. Казалось, пузыри традиционной этики вдруг полопались и застоявшийся воздух заполнил все пространство. Для спасения его сознанию нужно было срочно ухватиться за любые частицы старины, все еще плававшие в моральном эфире. Голос Элеоноры представлялся ему серым рассветом нового материалистического мира, и контраст выглядел еще более резким из-за уже поколебавшейся чести, все еще остававшейся честью, и остатков сентиментальной религиозности, которые проскальзывали то тут, то там в ее речи.

– Итак, мой дорогой, мы видим сплавленные воедино практичность, героизм и чувства, говорящие сами за себя. И мы тем временем добрались до Рочестера, – с сожалением заметила она. – Как вижу, в старании оправдать себя я достигла лишь того, что теперь весь мой пол кажется тебе виноватым. – И со слезами на глазах они расцеловались.

На платформе они еще немного поболтали. Но все чувства куда-то исчезли. Она вновь попыталась анализировать, и ее гладкий лоб покрылся морщинами. Он прилагал все усилия для того, чтобы переварить сказанное ею, но в мыслях у него все еще царил беспорядок.

– Помнишь, – спросил он, – как ты днем говорила, что любовь раньше была словом с большой буквы, как Жизнь и Смерть?

– Это всего лишь слова... техника... правила игры... ловушка!

Поезд тронулся, и Клэй запрыгнул в отходящий вагон, а она, возвысив голос так, чтобы он ее услышал, крикнула вслед:

– Любовь – действительно с большой буквы, но я имела в виду не нас. Настоящая Любовь так же велика, как и Жизнь, и Смерть, но не эта любовь, не эта...

Звук ее голоса утонул в шуме поезда, и для Клэя она стала серым призраком, растворившимся в пространстве вместе с платформой.

III

Заряд разорвался прямо в пушке. Когда стих грохот и рассеялся дым, сержант О'Флоэрти, получивший осколок в левый бок, упал рядом с Клэем, и они доползли до воронки, подобно измученным морякам с затонувшего судна, безмолвно плывущим из последних сил к берегу. Плечо и спина Клэя обильно кровоточили, он медленно и неуклюже потянулся за пакетом первой помощи.

– Скоро весь Семнадцатый Сассекский переформируют, – пророчески произнес О'Флоэрти. – Две недели в арьергарде и пару недель дома.

– Чертовски хороший полк это был, О'Флоэрти! – сказал Клэй.

Они вполне могли сойти за пару майоров-философов, обсуждающих положение дел вдали от передовой, если бы только Клэй не лежал на спине с искаженным от боли лицом, а ирландец не истекал бы кровью. Последний при этом пытался соорудить импровизированный жгут на своем бедре, сохраняя беззаботное выражение робкого просителя, отдающего свою шляпу в гардероб.

– Нет у меня никаких чувств к этому полку! – с отвращением прокомментировал он. – Это уже пятый, который я вижу разбитым вдребезги. Меня просто направили в этот Сассекский запасной, и мне нет надобности высказывать какие-либо чувства!

– Уверен, что ирландцы стоят друг за друга горой, сержант!

– Все ирландцы – друзья, капитан, хоть я и не подозревал об этом, покуда не покинул своих... ну, тех, что еще остались. Англичанин не может умереть, не разыграв перед этим целый спектакль. Кровь на англичанине всегда напоминала мне актерский грим. Они всегда играли. Ирландец же умирает чертовски серьезно.

Клэйтон, превозмогая боль, перевернулся и уставился в ночное небо; облака были едва видны из-за дыма. Они находились между дьяволом и бездной, и на сленге следующего поколения такие пятачки земли будут называть ничейными полосами. О'Флоэрти продолжал:

– Все вы думаете, что должны что-то сделать. У вас нет никакого Бога, достойного упоминания. Вы уходите из жизни во имя каких-то священных принципов и надеетесь на встречу в Вестминстере.

– Мы не мистики, О'Флоэрти, – пробормотал Клэй, – просто у нас серьезное отношение и к Богу, и к реальности.

– Прошу прощения, лейтенант, для меня мистик, – ответил ирландец, – это не ряса, а святой. Вы – самые легкомысленные существа в вопросах веры, вы всегда говорите о чистой вере так, словно это то же самое, что и облака в небе. На той неделе была лекция, я сунул голову в дверь. «Ма-те-ри-а-лис-та-ми, – говорил лектор, – мы должны быть материалистами в вопросах религии, мы должны быть практичны». И пошел чесать по поводу христианского братства и благородной смерти, поэтому голову я высунул обратно. И множество ваших лучших людей умирают за это каждый день – пытаюсь быть *ма-те-ри-а-ли-ста-ми*, умирающими потому, что их отец – герцог, или потому, что он не герцог. Но это совсем не то, о чем я должен сейчас думать. Черт бы с ним, давайте выкурим трубочку, пока не стемнело. А то чертовы немцы заметят спичку и начнут практиковаться в стрельбе. – Мгновенно появились трубки, столь же необходимые на войне, сколь и усиленный рацион, и сержант продолжил, осторожно выдохнув из легких по направлению к земле огромный клуб табачного дыма: – Я воюю потому, что люблю это дело, и Бог здесь ни при чем. Но раз вы говорите о смерти, я вам скажу, что, в отличие от вас, я понял одно: Пьер Дюпон встает перед французами и говорит: «Allon, mes enfants!», – и отец О'Брайен встает и говорит: «Собирайтесь, и пусть бегут германские черти!» – то, что надо! Но можете вы себе представить благоговейного Апдайка – Апдайка, только что из Оксфорда, – вопящего «Вперед, парни!» или «Сметем их к черту!»?

Нет, капитан! Лучший командир из всех имеющихся – это верзила шести футов росту, который думает, что у Бога тоже есть местечко в палате общин. Все щеголи обязаны уйти из жизни с максимально возможной шумихой. Дайте англичанину хоть четыре дюйма земли перед любым знаменитым церковным алтарем – и он умрет счастливым, но для О’Флоэрти это – пшик!

А Клэй пребывал в полубреду, и ему мерещилась Элеонора. Целую неделю с момента их расставания в Рочестере он только о ней и думал. Новое знание открывалось ему все новыми и новыми сторонами. Он неожиданно понял все, что было между Диком и Элеонорой; еще он решил, что им надо любой ценой пожениться. Конечно же, из Парижа Клэй написал Элеоноре письмо, в котором просил ее выйти за него замуж, когда он вернется, а вчера получил очень короткий, дружеский и тем не менее окончательный отказ. И никак не мог этого понять.

К тому же он думал о своей сестре, а в его ушах звучал голос Элеоноры: «Они либо надевают брюки и целый день разъезжают в авто, словно шоферы, либо пудрятя и танцуют ночи напролет с офицерами». Он был совершенно уверен, что целомудрие Клары нисколько не пострадало. Целомудрие – каким смешным выглядело это слово и как странно было употреблять его по отношению к собственной сестре! Клара всегда была болезненно хороша. В четырнадцать ее услали в Бостон за то, что над ее кроватью висела открытка с изображением Луизы Мэй Олкотт. Никто тогда не знал, что это он тайком повесил вместо нее вырезанную из журнала картинку с субреткой в обтягивающем белье и с вытаращенными глазами. Да уж, Клара, Элеонора, Дик и он сам – все они были одинаковыми, не важно, действительно ли были у них какие-либо вины или заслуги. Если он когда-нибудь вернется домой...

Ирландец, заметно ослабев, говорил все быстрее и быстрее:

– Закройте все вашими красивыми занавесами – никого этим не обмануть. Если я пьян, то это всего лишь дьявол и моя плоть, если же пьяны вы – то это все от вашего фанатизма. Но вам не обмануть ни смерть, ни меня! Это чертовски серьезный случай. Я могу позволить убить себя ради флага, но умру я за себя. «Умираю за Англию!» – скажет он. «Улаживай свои дела с Богом, с Англией ты уже покончил!» – скажу я. – Он приподнялся на локте и потряс кулаком в направлении немецких траншей. – Во всем виноваты вы с вашим проклятым Лютером! – крикнул он. – Вы возражали и анализировали до тех пор, пока мое тело не стало гореть, а сам я – корчиться от боли; вы эволюционировали, как мистер Дарвин, и зашли так далеко, что вас пришлось гнать силой. В мире нет ничего, кроме вашего Бога, Чести, Фазерланда, Вестминстера, нет ничего, кроме Бога, – и точно, вы его нашли! Вы нашли его на флаге, и в конституции тоже. Теперь вы будете писать свои Библии, с Христом, который устраивает войны, чтобы казаться человечнее. Вы говорите, он на вашей стороне? Однажды у него была избранная нация, и они распяли его, и тело его было растерзано... – Его голос все слабел. – Приветствую тебя, Святая Дева Мария, и Тебя, Господь... – Он умолк; прошла предсмертная дрожь... Он умер.

Время шло. Клэй еще раз зажег трубку, нисколько не заботясь о том, заметят его или нет. Опустился густой мартовский туман, влажность отнимала у него силы. Вся левая сторона его тела была парализована, и он чувствовал, что потихоньку замерзает. Он начал говорить вслух:

– Проклятый туман... Проклятый счастливчик ирландец... Проклятие!

Он немного удивился тому, что вот сейчас встретит свою смерть, а думает, как всегда, об Англии, и три лица одно за другим проплыли перед его глазами: Клара, Дик, Элеонора. Все смешалось. Ему хотелось вернуться и закончить тот разговор. Они остановились в Рочестере – он прекратил существовать на платформе в Рочестере. Почему именно там? Рочестер ничего не значил. Может, это была какая-то пьеса, в которой герой родился на станции? Или на станции был какой-то саквояж и он ушел из жизни на?.. Что там говорил этот ирландец

про завесы? Элеонора тоже говорила что-то про завесы. Да, но он не видит никаких завес и ничего такого не чувствует – ему просто холодно, вокруг темно, все в беспорядке. Он никогда не думал о Боге – Бог существовал для священников, – а затем был университет. Бог... Он всегда носил рубашки с короткими рукавами и оксфордские пиджаки, но это не имело никакого отношения к Богу, – это все было о человеке, кричавшем о Боге перед солдатами. И еще был Бог О'Флоэрти. Он чувствовал себя так, словно знал его всю жизнь, но только никогда не называл его Богом... Он был и яростью, и любовью – и никогда он не кичился тем, что боится Бога или что рассудительно любит его. Казалось, что в мире стало так много богов, а раньше он считал, что христиане веруют в единого Бога, и иметь разных богов казалось ему варварством...

Ну что ж, во всем этом запутанном деле он разобрался за три минуты – и мог бы сделать много хорошего для тех, кто до сих пор бродил в этом лабиринте...

Проклятая путаница – все было запутано, все были вне игры, и от судьбы уже давно избавились, но все пытались создать у противника впечатление, что судья в поле на их стороне. Он должен был пойти и найти этого старого судью – найти его, – схватить его, ухватить покрепче, – уцепиться за него, – вцепиться в него, – спросить у него...

Кастальский ключ и последняя капля

В детстве дядя Джордж был для меня личностью почти легендарной. В семье о нем никогда не говорили – его имя произносили только в исключительных случаях и лишь вполголоса. А его печатные труды в ярких, привлекающих внимание обложках лежали на столе в библиотеке. Прикасаться к ним мне было запрещено – до тех пор, пока я не достигну возраста, в котором разврат уже не окажет на меня своего губительного воздействия. Любопытство было жгучим, и однажды в поисках более подробной информации о новых поступлениях в нашу библиотеку я нечаянно превратил в сотни блестящих осколков настольную лампу из оранжевого стекла. Тот вечер я провел в постели и еще несколько недель не мог играть под столом по причине материнского страха перед резаными ранами артерий на руках и коленках. Зато я смог впервые представить себе дядю Джорджа, – это был высокий, худой и угловатый мужчина с причудливо изогнутыми руками. Его облик я восстановил по почерку, которым он написал: «Тебе, мой брат, с наисердечнейшими из всех тщетных надежд, которыми ты насладишься, прочитай это. Джордж Ромберт». После столь неудачного начала мой интерес к предмету иссяк бы сам собой вместе со всеми моими представлениями об авторе, если бы только он не сделался предметом постоянных обсуждений в семье.

Когда мне исполнилось одиннадцать, я стал невольным участником одной из впервые доступных моему пониманию бесед о нем. Я ерзал на стуле, переживая варварское наказание, когда принесли письмо и отец, заметно посуровев, стал читать. Инстинктивно я понял, что дело касалось дяди Джорджа, – и оказался прав.

– В чем дело, Том? Кто-то заболел? – обеспокоенно спросила мама.

Вместо ответа отец поднялся и протянул ей письмо вместе с несколькими газетными вырезками, которые были к нему приложены. Прочитав все дважды (ее наивное любопытство никогда не могло обойтись без предварительного беглого просмотра), она бросила:

– Почему она пишет тебе, а не мне?

Отец устало присел на диван и картинно положил ногу на ногу:

– Это начинает надоедать, не правда ли? Он уже третий раз оказывается в истории!

Я вздрогнул, услышав, как он тихо добавил: «Проклятый дурак!»

– Это не просто надоело, – начала мать, – а вызывает отвращение: взрослый мужчина, с деньгами и талантом... У него ведь есть все, чтобы вести себя прилично... Жениться... (Она считала, что эти слова – синонимы.) А он, как глупый, самоуверенный студент, флиртует направо и налево с солидными женщинами. А ты все еще думаешь, что это игрушки!

Здесь я и вставил свое слово. Я решил, что мое присутствие могут счесть неуместным, что приведет к моему досрочному освобождению.

– Я здесь! – произнес я.

– Да уж вижу, – сказал отец тоном, который он обычно использовал для устрашения молодых адвокатов в конторе; вот так я и остался сидеть и вежливо слушать разговор, устремлявшийся все далее и далее, в некие чудовищные бездны.

– Для него это игра, – сказал отец. – Все точь-в-точь, как у него в книгах!

Мама вздохнула:

– Мистер Сэджвик сказал мне вчера, что его книги нанесли не поддающийся оценке вред общему отношению к понятию «любовь» в нашей стране.

– Мистер Сэджвик написал ему письмо, – довольно сухо заметил отец, – и Джордж послал ему в ответ Библию.

– Не шути так, Томас, – сказала мать, и глаза ее расширились. – Джордж коварен, он не в себе...

– И то же самое было бы со мной, если бы только ты со всей страстью не вырывала меня из его когтей. А твой сын, находящийся здесь, станет вторым Джорджем, если будет слушать такие разговоры в этом возрасте!

Вот так впервые на моего дядю Джорджа пала тень.

Бессвязная и обрывочная информация об этом все более увлекательном предмете складывалась в моем сознании на протяжении следующих пяти лет, как части какой-то головоломки. Вот законченный портрет, сложившийся у меня к семнадцати годам: дядя Джордж был настоящим Ромео и при этом ненавидел брак; он представлял собой комбинацию из Байрона, Дон Жуана и Бернарда Шоу, плюс немного Хэвлока Эллиса. Ему было около тридцати, он был не единожды помолвлен и пил так много, что это должно было уже вызвать у него определенные проблемы со здоровьем. Личности его придавало пикантности его отношение к женщинам. В двух словах: идеалистом он не был. Он написал серию романов, один злее другого, в каждом из которых основными действующими лицами были женщины. Некоторые из них были плохими; ни одна не была хороша без изъяна. Он выбирал достаточно странных Лаур на роль муз своего эксцентричного Петrarки, ведь он умел писать и писал хорошо!

Он был из авторов, получающих от мелких коммивояжеров, пожилых мужчин и экзальтированных молодых женщин десятки писем о том, что он «проституирует искусство» и «проматывает свой волшебный талант». На самом деле он этого не делал. Было件нятно, что он сможет писать лучше, если вырвется за пределы своей малопривлекательной литературной ниши, но то, что он писал, пользовалось большой популярностью, причем – что странно – не только в кругах обычных поклонников «продажного» искусства – восторженных продавщиц и сентиментальных продавцов, в угождении вкусам которых он обвинялся, – но и в высоких академических и литературных кругах. Его искусное обращение с природой (здесь, как обычно, имелось в виду «с чем угодно, кроме белой расы»), его прекрасно обрисованные персонажи, чрезвычайно циничное остроумие и самокритика привлекали к нему множество сторонников. Даже в самых солидных и строгих рецензиях его классифицировали как «подающего надежды». Оптимистичные критики предсказывали ему в скором будущем длинные психологические рассказы и готически таинственные романы. Одно время он считался «американским Томасом Харди», несколько раз его объявляли «Бальзаком нашего века». Его упрекали в том, что он носит в кармане великий американский роман и все пытается продать его издателю за издателем. Но почему-то ни содержание, ни стиль его произведений не менялись, и публика стала обвинять его в том, что он «поскучнел». Он жил вместе со своей незамужней сестрой, и именно ее рука сжимала телефонную трубку, из которой неслись неистовые женские голоса, которых не мог заглушить сжимаемый тайком в другой руке пузырек «Бромозельцера». Год за годом она все больше седела, ведь Джордж Ромберт попадал в серьезную историю не реже раза в год. Он буквально заполнял собой колонки светских сплетен. Как ни странно, во всех его интрижках были замешаны дебютантки, и этот факт рассматривался мамашами-наседками в качестве наиболее возмутительного. Хотя он мог с самым серьезным видом нести очевидную ахиною, с экономической точки зрения он был одной из самых желанных партий, и многие отваживались на рискованное предприятие.

Когда я был ребенком, мы жили на Востоке, но в семье всегда подразумевалось, что «дом» означает благополучный город на Западе, который все еще поддерживал корни нашего фамильного древа. Когда мне исполнилось двадцать, я впервые «вернулся домой», и там же состоялась моя единственная встреча с дядей Джорджем.

Однажды за обедом моя тетка – всегда прекрасно одетая кроткая пожилая леди – сказала мне, как я понял, в качестве комплимента, что я очень похож на Джорджа. Мне были продемонстрированы его фотографии начиная с младенческого возраста: довольно странного вида Джордж в Андовере на заседании комитета Ассоциации молодых христиан;

Джордж в Виллиамсе, в центре группового фото «Литературного журнала»; Джордж во главе студенческого братства... Затем она протянула мне альбом с вырезками, описывавшими его светские похождения и содержащими рецензии на его работы.

– Этому он не придает никакого значения, – объяснила она.

Я восторгался, расспрашивал ее и, помню, думал, выходя из квартиры на розыски дяди Джорджа, который находился в клубе, что совершенно запутался, если не сказать больше: один и тот же человек вдруг оценивался низко в моей семье и восторженно – моей же теткой! В клубе «Ирокез» меня направили в бар, и там, стоя в дверном проеме, я сразу же заметил одного человека, который – в этом я был совершенно уверен! – и был моим дядей. Вот как он тогда выглядел: высок, с пышной шапкой волос, в которых проглядывала седина, с юношески бледной кожей, что было замечательно для человека, живущего такой жизнью; мое описание его физического облика пусть завершат потупленный взгляд зеленых глаз и насмешливый рот. Скорее всего, он был пьян, так как торчал в клубе весь вечер с обеда, однако полностью контролировал себя, и опьянение выражалось лишь чрезмерно аккуратными движениями да перепадами голоса, который периодически переходил в хриплый шепот. Он произносил речь, стоя перед столом, за которым сидели мужчины в разной степени опьянения. Он удерживал их внимание с помощью самой эксцентричной и завораживающей жестикуляции. Здесь я должен заметить, что его воздействие на людей базировалось не столько на его физической привлекательности, сколько на его доскональном знании людской психологии, оживленной жестикуляции, уникальной манере говорить, а также неожиданности и изяществе его замечаний.

Я внимательно его рассмотрел, пока официант шептал ему обо мне; потом он медленно и с достоинством подошел, мы обменялись рукопожатиями и он сел ко мне за маленький столик. Целый час мы говорили о семейных делах, о здоровье, о том, кто умер, кто родил. Я не мог отвести от него взгляда. Кровавые прожилки в белках его зеленых глаз напоминали мне странные цветовые комбинации в коробке детских красок. Минут через десять, когда разговор ему явно наскучил, а мне, как назло, больше ничего в голову тоже не приходило, он внезапно повел рукой так, словно смахнул с лица невидимую вуаль, и принялся меня расспрашивать.

– Твой чертов папаша все еще защищает меня от твоей матушки?

Я вздрогнул, но, как ни странно, не почувствовал ни малейшего негодования.

– Спрашиваю, – продолжил он, – потому что это единственное, что он для меня сделал за всю свою жизнь. Он ужасный ханжа. Думаю, он кого угодно с ума сведет.

– Отец очень хорошо к вам относится, сэр, – несколько чопорно ответил я.

– Нет, – возразил он. – Крепко держись принятой в твоей семье истины и не утруждай себя враньем мне. Я для тебя – неведомая тень, и я это прекрасно знаю. Я прав?

– Ну как сказать... Я о вас уже лет двадцать слышу.

– Да, мои двадцать лет ада, – сказал дядя Джордж. – Сама история длилась три года, а еще пятнадцать лет – послесловие к ней.

– Ну а ваши книги – и все прочее...

– Просто послесловие, ничего, кроме послесловия! Моя жизнь остановилась, когда мне был двадцать один год, в шестнадцать минут одиннадцатого, в один октябрьский вечер. Хочешь послушать? Сначала я покажу тебе Тельца, а затем проведу наверх, и ты узришь Алтарь.

– Я... Вы... Не... – попытался возразить я, но вышло это неубедительно, так как на самом деле я горел желанием услышать его историю.

– О, не беспокойся. Я рассказывал об этом много раз и в книгах, и в жизни, и в других, самых неожиданных, местах. Никакой боли я уже не чувствую – все ощущения исчезли сразу же. Ты сейчас разговариваешь с Тельцом, уже практически превратившимся в пепел.

И он рассказал мне все.

– Все началось, когда я учился на втором курсе – точнее, на рождественских каникулах той зимой. До этого она всегда вращалась в компании молодежи – «мелких», как сейчас говорят.

Он сделал паузу, мысленно хватаясь за осязаемые образы, которые позволили бы высказать то, что ему хотелось.

– Ее манера танцевать и красота... И ничем не прикрытая беспринципность... Я никогда не сталкивался с подобным... Когда она хотела заполучить парня, не было никакой предварительной подготовки, никакого сбора информации у подружек, никаких разговоров, предназначенных специально для его ушей. Лишь открытая атака с использованием сразу всех имеющихся преимуществ и орудий. Любые средства были хороши: она просто вынуждала тебя осознать, что она – настоящая женщина. – Он неожиданно взглянул на меня и спросил: – Этого достаточно? Тебе нужно описание ее глаз, волос, голоса?

– Нет, – ответил я, – пропустим.

– Ну так вот, в университет я вернулся идеалистом и выстроил целую психологическую систему, в которой сквозь мое сознание дни и ночи напролет проплывали темноволосые леди с глубоким контральто и безграничными возможностями. Конечно же, мы вели оживленную и волнующую переписку, – оба писали смешные письма и слали смешные телеграммы, рассказывали абсолютно всем о нашей пылающей любви, и... ну, ты и сам был в университете. Все это банально, я понимаю. Но вот что было необычно. Идеализируя ее до крайней степени, я совершенно ясно отдавал себе отчет в том, что она – просто верх несовершенства. Она была эгоистичной, самовлюбленной и неуправляемой особой, а поскольку у меня были те же самые недостатки, я сознавал это вдвойне. Но мне никогда не хотелось ее изменить. Каждый недостаток был тесно связан с каким-то проявлением страсти, которое его превосходило. Ее эгоизм заставлял ее играть в игру серьезнее, ее неспособность сдерживать себя приводила меня в трепет, а ее самовлюбленность оттенялась столь роскошными периодами сострадания и самоосуждения, что стала почти... почти дорога мне! Это еще не смешно? Она очень сильно действовала на меня. Она заставила меня желать сделать что-нибудь для нее, достичь чего угодно, лишь бы только показать ей. Любые заслуги в университете интересовали меня лишь как достойный ее трофей.

Он кивком подозвал официанта, и я забеспокоился, потому что, хотя он и выглядел трезвее, чем когда я его впервые увидел, пить он не переставал и я понимал, что мое положение будет весьма затруднительным, если он опять захмелеет.

– И вот, – продолжал он между глотками, – мы стали время от времени видеться. Ссорились, мирились и ссорились снова. Мы были равны, никто из нас не был лидером. Она была заинтересована во мне ровно настолько, насколько я был ею очарован. Мы оба были ужасно ревнивы, но поводов это демонстрировать у нас было мало. У каждого из нас случались интрижки на стороне, но это были, скорее, просто передышки, когда другого слишком долго не было рядом. Незаметно для меня самого мой идеализм потихоньку испарялся – или перерастал в любовь, и в любовь довольно нежного рода.

У него на лбу появилась морщинка.

– Вечер нежных воспоминаний...

Я кивнул, и он продолжил:

– В конце концов расстались мы за пару часов – и это она меня бросила! В следующем году я приехал на бал в ее нью-йоркскую школу, и там был парень из другого университета, к которому я стал сильно ревновать, и не без причины. Мы с ней поговорили, и через полчаса я вышел на улицу уже в шляпе и пальто, бросив на прощание меланхоличное «все кончено». До тех пор все шло хорошо. Если бы я вернулся в университет первым же поездом, или если бы я пошел и напился, или совершил бы что угодно безумное и дикое, разрыв не произошел

бы никогда – так она написала на следующий день. А я сделал вот что. Я пошел по Пятой авеню, позволив воображению играть моим горем; я наслаждался им. Никогда еще она не была так прекрасна, как в тот вечер, никогда! И я еще никогда не был так влюблен. Я накрутил себя до высшей степени, мое настроение полностью мной завладело, я... о, проклятый дурак, которым я... Которым... Которым я навсегда останусь... Я повернул обратно! Я вернулся! Неужели я не знал или не видел – я знал и ее, и себя! – я же мог кому угодно, и себе в обычном состоянии тоже, нарисовать совершенно точный план того, что мне следовало сделать, но мое настроение заставило меня вернуться, лишив меня разума. Половина меня могла бы сейчас же отправиться в Виллиаме или в какой-нибудь манхэттенский бар. Но другая половина пересилила, и я повернул назад, к ней в школу. Когда я переступил порог, было шестнадцать минут одиннадцатого вечера. И в тот момент мое существование прекратилось.

Ты сам можешь представить, что случилось потом. Она была зла из-за того, что я покинул ее, у нее не было времени на печальные размышления, и, когда она увидела, что я вернулся, она решила меня наказать. Я проглотил и крючок, и наживку и на время потерял и уверенность, и самообладание, и выдержку, и даже последние граммы индивидуальности и привлекательности, которые еще оставались во мне. Я, как дикарь, бродил по танцевальному залу, пытаюсь с ней заговорить, а когда мне это удалось, я довершил начатое. Я просил, оправдывался, чуть не плакал. С этой минуты я больше не был ей нужен. В два часа ночи я вышел из этой школы, потерпев крах.

Ну а потом начался долгий кошмар – письма, из которых исчезли все чувства, безумные, умоляющие письма; долгие перерывы в надежде, что еще не все потеряно; слухи о ее романах. Поначалу я впадал в тоску, когда люди по привычке связывали меня с ней и спрашивали меня о ней, но постепенно все узнали, что она меня бросила, и расспросы о ней прекратились. Теперь, наоборот, мне рассказывали о ней – объедки собаке! Я был даже не властен над собственной работой – потому что я всегда писал с нее, только с нее! Вот и вся история. – Он замолчал и встал, слегка шатаясь; в опустевшем баре его голос прозвучал неожиданно громко: – Даже мировая история открылась мне с другой точки зрения с тех пор, как я узнал о Клеопатре, Мессалине и мадам де Монтеспан.

Он направился к двери.

– Куда же вы? – в тревоге спросил я.

– Мы поднимемся наверх, чтобы познакомиться с дамой. С некоторых пор она вдова, поэтому тебе придется называть ее «миссис» – вот так вот: «миссис».

Мы пошли наверх. Я шел позади, приготовившись его ловить, если он вдруг вздумает падать. Я чувствовал, как крупно мне не повезло. Самый неуправляемый в мире человек – это тот, кто слишком трезв для того, чтобы быть неуверенным, и слишком пьян для того, чтобы позволить себя в чем-либо убедить; кроме того, как это ни странно, мне почему-то казалось, что мой дядя именно тот, за кем нужно беспрекословно следовать.

Мы вошли в большую комнату. Я не смог бы ее описать, даже если бы от этого зависела моя жизнь. Дядя Джордж поклонился женщине, сидевшей за карточным столом, и поклоном же ее к нам пригласил. Она кивнула в ответ и, поднявшись из-за стола, медленно направилась к нам. Я вздрогнул – и это было вполне естественно.

Вот мое впечатление: женщина лет тридцати или чуть моложе, темноволосая, с ярко выраженным животным магнетизмом и чувственными губами, способными, как я вскоре обнаружил, выражать мельчайшие перепады настроения их обладательницы. Это были губы, которым должно было писать стихи: несмотря на то что никто бы не осмелился назвать их большими, в сонет они все же не поместились бы – признаюсь, я попробовал даже шекспировский сонет! Они выражали любые эмоции – драмы, трагедии, и – возьму на себя смелость – даже эпос! В моем понимании, это был рот богини. Заметил я и карие глаза, и легкую косметику; но – о, эти губы!

Я почувствовал себя героем викторианского романа. Небольшие оживленные группы людей в комнате, расположившиеся то тут, то там, казалось, превратились в огни рампы, освещавшие нас, разыгрывавших комедию на авансцене. Я полностью контролировал себя, но исключительно физически; я был всего лишь реквизитом и чувствовал смущение за своего дядю. Я страшился момента, когда он должен будет повысить свой голос, или перевернуть столик, или поцеловать миссис Фулхэм, которая театрально отклонится назад, и все вокруг вздрогнет и станут на нас смотреть. Все было крайне нереально. Я был неразборчиво представлен и тут же забыт.

– Снова пьян, – заметила миссис Фулхэм.

Мой дядя ничего не ответил.

– Ну что ж, сейчас у нас очень тяжелое положение в игре; к тому же мы проигрываем по очкам. Так что я смогу уделить вам время только в перерыве.

– Не правда ли, вы польщены? – Она повернулась ко мне. – Ваш дядя, наверное, рассказал вам о себе и обо мне? Он так плохо ведет себя в этом году! Это был такой возвышенный и невинный юноша – и вдруг он превращается в грозу дебютанток!

Мой дядя тут же ее напыщенно прервал:

– Думаю, Мойра, что это уже чересчур даже для тебя!

– Ты снова хочешь винить во всем меня? – в притворном возмущении спросила она. – Как будто это я...

– Нет, не надо, – сказал дядя; язык его еле ворочался. – Оставь в покое бедного дурака.

И тут я неожиданно заметил некий контраст. Характер моего дяди вдруг куда-то испарился, словно туман. Это была уже не романтическая фигура из бара, а неуверенная, непривлекательная, почти ничтожная особь. Мне еще никогда не приходилось видеть, чтобы характер менялся так резко. Потому что обычно он либо есть, либо его нет. Интересно знать, имел ли я в виду характер, или же темперамент, или же то настроение, в котором брюнетки с глубоким контральто плавают на грани... По крайней мере мой дядя выглядел теперь, как непослушный мальчишка перед суровой теткой, почти как собака перед хозяином.

– Знаете ли, – сказала миссис Фулхэм, – ваш дядя – единственная заслуживающая внимания вещь в этом городе. Ведь он – настоящий дурак!

Дядя Джордж склонил голову и задумчиво уставился в пол. Он улыбался вежливо и невесело.

– Тебе так кажется?

– Он вымещает на мне всю свою злобу.

Мой дядя кивнул, партнеры миссис Фулхэм крикнули ей, что они снова проиграли и что игра расстраивается. Она начала злиться.

– Ты стоишь здесь, как дрессированный спаниель, и позволяешь мне говорить все, что вздумается, – холодно заметила она. – Ты знаешь, какой ты жалкий?

Мой дядя побагровел. Миссис Фулхэм опять повернулась ко мне:

– Я разговариваю с ним так уже десять лет – именно так, если вообще разговариваю. Он моя маленькая комнатная собачка. Эй, Джорджи, принеси мне чаю! Напиши обо мне книжку! Ты слишком важничаешь, Джорджи, но ты забавный!

Миссис Фулхэм поддалась действию драматического напряжения собственных слов, ее возбуждение подогревало молчание Джорджа. И она потеряла голову.

– Ты знаешь, – нервно сказала она, – моему мужу часто хотелось выпороть тебя плетью, но я упрашивала его этого не делать. Он был знатоком собак и всегда говорил, что справится с любой шавкой!

Что-то щелкнуло. Мой дядя поднялся, его глаза сверкали. Перенос удара с нее на ее мужа сбросил груз с его плеч. Слова, копившиеся десять лет, выходили медленно и размеренно.

– Твой муж... Ты имеешь в виду того вороватого брокера, который содержал тебя пять лет? Выпороть меня?! Это была похвальба, которой он пользовался, сидя у камина, чтобы удержать тебя в своих грязных лапах. Клянусь Господом, я собственноручно высеку твоего следующего мужа!

Он говорил громко, и люди вокруг начали на него посматривать. Воцарилась тишина, его слова эхом летали по комнате.

– Он проклятый вор, отнявший у меня все в этом дьявольском мире!

Он уже кричал. Несколько мужчин подтянулись поближе. Женщины жались к стенам. Миссис Фулхэм стояла совершенно прямо. Она побледнела, но все еще открыто насмехалась над ним.

– Что это? – Он схватил ее за руку.

Она попробовала вырвать руку, но он усилил хватку и стащил с ее пальца обручальное кольцо, бросил его на пол и растоптал, превратив в бесформенный золотой комок.

Я тут же схватил его за руки. Она вскрикнула, показав всем свой сломанный палец. Вокруг собралась публика.

Через пять минут мы с дядей Джорджем мчались домой в такси. Мы оба молчали; он глядел прямо вперед, его зеленые глаза блестели в полумраке. Я уехал домой на следующее утро, после завтрака.

* * *

На этом рассказ лучше было бы закончить. Лучше было бы оставить моего дядю Джорджа в образе трагического полугения, разрушенного женщиной, как Марк Антоний или де Мюссе. Но, к сожалению, эта пьеса имеет продолжение в виде безвкусного шестого акта, где сюжет валится навзничь, как пьяный дядя Джордж, что совершенно не соответствует канонам драматической литературы. Месяц спустя дядя Джордж и миссис Фулхэм тайно бежали в самой что ни на есть романтической манере за день до назначенной свадьбы миссис Фулхэм и преподобного Говарда Биксби. Дядя Джордж больше никогда не касался ни пера, ни спиртного – он вообще больше ничего не делал, не считая редких партий в гольф и уютной скуки на пару со своей женой.

Мама все еще не верит и предсказывает ужасные беды жене такого человека; отец откровенно изумлен и с виду не очень-то рад. Сдается мне, что ему больше нравилось, когда в семье был писатель, пусть даже его книги на столе в библиотеке выглядели слегка по-декадентски. Время от времени я получаю от дяди Джорджа подписные листы и приглашения. Я храню их, чтобы потом использовать в своей новой книге, посвященной теории таланта. Видите ли, я считаю, что если бы Данте когда-либо достиг успеха... Но гипотетический шестой акт безыскусен так же, как реальность.

Интерлюдия



«А я не послушал этого совета!»
Ф. Скотт Фицджеральд, автор романа
«Прекрасные и проклятые» и др

– Доброе утро, мистер Фицджеральд! – произнес человек в роговых очках. – Меня попросили зайти в отдел подготовки текстов и рассказать вам о писательстве. Я слышал, вы получили тридцать долларов за рассказ. Так вот, за последние десять лет в «Сатердей ивнинг пост» опубликовали пять моих рассказов, и я знаю это дело от и до. Все это – ничто! Конечно, можно иногда получить лишнюю копейку, но заработать этим на жизнь не получится. Это все мечты! Пройдет десять лет, прежде чем вы хотя бы начнете вашу карьеру... А до этого момента вы будете голодать. Послушайте моего совета: бросайте это писательство и продолжайте работать здесь, у нас!

А я – не послушал!

Улыбочки

Приступы раздражительности случаются у всех.

Бывает, вы почти готовы высказать прямо в лицо живущей по соседству безобидной старушке все, что вы о ней думаете, а именно что с такой наружностью впору работать ночной сиделкой в приюте для слепых! Бывает, вам безумно хочется спросить опоздавшего на десять минут приятеля, а не перегрелся ли он, пытаясь догнать неспешного почтальона? А иногда так и хочется сказать официанту, что если бы за каждый градус, на который успел остыть ваш суп по дороге с кухни, можно было вычитать из счета по центу, то ресторан был бы вам должен уже центов этак пятьдесят! А бывает – и это всегда служит верным признаком настоящего раздражения, – что простая улыбка действует на вас, словно яркая сорочка нефтяного магната на горячего бычка.

Но приступ проходит. На вашей собаке, на вашем воротничке или на телефонной трубке остаются и шрамы, и следы, но душа ваша постепенно возвращается на свое обычное место – чуть ниже сердца, чуть повыше желудка, – и наступает мир.

Когда-то в ранней юности Сильвестра Стоктона бесенок, который включает душ раздражения, по всей видимости, так перестарался, поддавая жару, что с тех пор Сильвестр так и не осмелился выскочить из-под этого душа и выключить горячий поток; в результате с тридцатилетним Сильвестром в плане чувствительности и уязвимости по отношению к любым явлениям повседневной жизни не смог бы сравниться ни один «первый старик» в любительских постановках викторианских комедий.

Обвиняющий взгляд из-за очков, почти негнушащая шея – этих деталей достаточно для описания его внешности, поскольку этот рассказ – не о нем. Он всего лишь сюжетная деталь, множитель, соединяющий в одно целое три разные истории. Его реплики прозвучат в начале и в самом конце.

На исходе дня солнце весело блуждало вдоль Пятой авеню; выйдя из внушающей страх публичной библиотеки, где он читал какую-то мрачную книгу, Сильвестр сказал своему невыносимому шоферу (я стараюсь правдиво изобразить то, что видел он своими глазами сквозь собственные очки), что ему сегодня больше не понадобятся его бестолковые и непрофессиональные услуги. Помахивая тросточкой (которую он находил чересчур короткой) в левой руке (которую ему давно надлежало бы отсечь и бросить от себя, потому что она постоянно его соблазняла), он медленно пошел вдоль улицы.

Гуляя по вечерам, Сильвестр часто оглядывался и смотрел по сторонам – а вдруг кто-нибудь за ним следит? Это превратилось в постоянную привычку. И поэтому он не мог притвориться, что не заметил Бетти Тирл, сидевшую в своем автомобиле перед магазином «Тиффани».

Когда-то давно – когда ему только-только исполнилось двадцать – он был влюблен в Бетти Тирл. Но он нагонял на нее тоску. С ненавистью к человечеству он подвергал анализу каждое их свидание в ресторане, каждую автопрогулку и мюзикл, на котором они побывали вместе, а те несколько раз, когда она пыталась быть по отношению к нему особенно милой – ведь, с точки зрения мамы, он был довольно желанной партией, – он начинал подозревать какие-то тайные мотивы и впадал в еще более глубокую, чем обычно, меланхолию. Затем в один прекрасный день она сказала ему, что сойдет с ума, если он еще хоть раз припаркует свой пессимизм напротив ее залитого солнцем крылечка.

И с тех самых пор она, как ему казалось, не переставала улыбаться – безо всякой причины оскорбительно и очаровательно улыбаться!

– Привет, Сильви! – окликнула его она.

– А... Привет, Бетти.

Когда она наконец перестанет звать его «Сильви»? Это же звучало, словно... словно кличка какой-то чертовой мартышки!

– Как жизнь? – весело спросила она. – Думаю, так себе, да?

– О да, – холодно ответил он. – Справляюсь потихоньку.

– Вливаешься в веселую толпу?

– Именно так, бог им судья! – Он огляделся вокруг. – Бетти, чему они все так радуются? Чему они улыбаются? Что тут может вызывать у них улыбку, а?

Бетти бросила на него лучезарный изумленный взгляд:

– Сильви, женщины могут улыбаться просто потому, что у них красивые зубы!

– А ты улыбаешься, – тоном циника подхватил Сильвестр, – потому что удачно вышла замуж и родила двоих детей? Воображаешь, что счастлива, и считаешь, что все вокруг тоже счастливы?

Бетти кивнула:

– Может, ты и прав, Сильви... – Шофер оглянулся, и она кивнула: – Всего хорошего!

Сильви почувствовал укол зависти, внезапно превратившейся в раздражение, когда она обернулась и улыбнулась ему на прощание. Затем ее автомобиль затерялся среди других машин, а Сильвестр с глубоким вздохом вновь привел в движение свою тросточку и продолжил прогулку.

Дойдя до следующего перекрестка, он зашел в табачную лавку и там столкнулся с Уолдроном Кросби. В те дни, когда для светских дебютанток Сильвестр представлялся желанной добычей, он был ценным трофеем и для коммерческих агентов. Кросби, в ту пору начинавший как агент по продаже акций, дал ему множество мудрых советов, позволивших избежать ненужных рисков и сэкономить не один доллар. Сильвестр относился к Кросби с симпатией, насколько он вообще мог к кому-то относиться с симпатией. Кросби нравился большинству людей.

– Привет, старый добрый комок нервов! – добродушно воскликнул Кросби. – Заходи – у них есть толстые, разгоняющие тоску «Короны»!

Сильвестр с тревогой осмотрел сигарные коробки на прилавке. Он знал: то, что он сейчас купит, ему точно не понравится.

– Все еще в Ларчмонте, а, Уолдрон? – спросил он.

– Так точно!

– Как супруга?

– Лучше не бывает!

– Н-да, – с подозрением произнес Сильвестр, – и почему вы, брокеры, всегда выглядите так, словно смеетесь про себя над чем-то таким, своим? Веселая, должно быть, у вас профессия!

Кросби задумался.

– Ну, – ответил он, – все постоянно меняется – как луна, как цена на газировку... Но, конечно, есть и свои плюсы!

– Уолдрон, – с серьезным видом сказал Сильвестр, – мы ведь с тобой друзья? Пожалуйста, сделай мне одолжение – не улыбайся, когда я сейчас буду выходить. А то мне кажется, что ты надо мной смеешься.

По лицу Кросби расплылась широкая улыбка.

– Ну и сердитый же ты, сукин сын!

Но Сильвестр, гневно хмыкнув в ответ, развернулся и исчез.

Он пошел дальше. Солнце завершило свой променад и принялось сзывать домой последние случайные лучики, задержавшиеся на западных улицах. Черные пчелы витрин универмагов нагнали мрак на авеню; транспорта на мостовых прибавилось, машины сплетались в пробки; двухэтажные автобусы были набиты битком, платформами возвышаясь среди

густой толпы; но Сильвестр, который считал ежедневное зрелище смены ритма города чем-то низменным и монотонным, просто шел дальше, изредка бросая вокруг быстрые насупленные взгляды из-за очков.

Он дошел до отеля; лифт доставил его в четырехкомнатный номер на двенадцатом этаже.

«Пойти поужинать вниз? – подумал он. – Оркестр наверняка станет играть „Улыбайся, улыбайся, улыбайся“ или „Ты улыбаешься, когда ты смотришь на меня“... Если пойти в клуб, то там точно встречу всех своих веселых знакомых; а если пойти куда-нибудь, где нет музыки, то там наверняка не найдется приличной еды».

Он решил поужинать в номере.

Через час, с пренебрежением съев бульон, сквоб и салат, он дал забиравшему из номера посуду официанту пятьдесят центов, задержав руку в предупредительном жесте.

– Вы меня крайне обяжете, если не станете улыбаться, говоря «спасибо»!

Но было поздно. Официант уже широко улыбался.

– Что ж, не будете ли вы так любезны и не поведаете ли мне, – сварливым тоном спросил Сильвестр, – что именно заставляет вас улыбаться?

Официант задумался. Он не читал журналов и поэтому не знал, как именно должен вести себя типичный официант, но предположил, что от него ждут именно чего-то такого, характерного.

– Ну, мистер... Я просто не в силах управлять своим лицом, когда вижу полдоллара! – ответил он, глядя в потолок и изо всех сил стараясь сохранять на своем узком и бледном лице наивное выражение.

Сильвестр махнул рукой, показывая, что официант свободен.

«Официанты счастливы, потому что никогда не видели другой жизни, – подумал он. – У них воображения не хватает, чтобы хотеть чего-то большего!».

В девять вечера, устав с тоски, он улегся в свою ничем не примечательную кровать.

II

Сильвестр покинул табачную лавку, а Уолдрон Кросби вышел вслед за ним; свернув с Пятой авеню, он пошел вдоль поперечной улицы и вошел в брокерскую контору. Пухлый человечек с беспокойно двигавшимися руками встал и поприветствовал его:

– Привет, Уолдрон!

– Привет, Поттер. Я заскочил, чтобы узнать, насколько все плохо?

Пухлый человечек нахмурился.

– Только что пришли новости, – сказал он.

– Ну и как? Опять падение?

– Семьдесят восемь при закрытии. Сожалею, старина.

– Ну и ну!

– Что, много потерял?

– Все!

Пухлый человечек покачал головой, словно говоря, что и для него жизнь – тяжелое бремя, и отвернулся.

Кросби какое-то время просидел неподвижно. Затем встал, прошел в кабинет Поттера и поднял трубку телефона:

– Вызовите Ларчмонт, номер 838.

Через секунду его соединили.

– Это дом миссис Кросби?

Ему ответил мужской голос:

– Да. Это вы, Кросби? Говорит доктор Шипмен.

– Доктор Шипмен? – В голосе Кросби внезапно послышалось беспокойство.

– Да... Я весь день пытался с вами связаться! Ситуация изменилась, и ребенок, скорее всего, появится сегодня ночью.

– Сегодня ночью?

– Да. Все в порядке. Но вам лучше было бы приехать прямо сейчас, не откладывая.

– Уже еду. До свидания!

Он повесил трубку и пошел к двери, но остановился – внезапно ему в голову пришла какая-то мысль. Он вернулся и попросил на этот раз соединить его с номером в Манхэттене.

– Донни, привет! Это Кросби.

– О, привет, старина! Ты едва не опоздал. Я как раз собрался уходить, мне надо...

– Послушай, Донни, мне нужна работа – чем скорее, тем лучше.

– Для кого?

– Для меня.

– Да что слу...

– Не важно. Потом расскажу. Есть у тебя что-нибудь?

– Уолдрон, у нас сейчас ни черта нету, разве что клерком... Быть может, на следующей...

– А сколько платят клеркам?

– Сорок... Ну, сорок пять в неделю.

– Ловлю на слове. Выхожу завтра.

– Ладно. Но, послушай, старина...

– Прости, Донни, мне надо бежать.

Помахав рукой и улыбнувшись Поттеру, Кросби торопливо вышел из брокерской конторы. На улице он вынул из кармана горсть мелочи, скептически на нее посмотрел и остановил такси.

– На Центральный вокзал, как можно быстрее! – сказал он шоферу.

III

В шесть вечера Бетти Тирл поставила на письме подпись, положила листок в конверт и написала сверху имя мужа. Она зашла к нему в комнату, подумав, положила на кровать черную подушку, а на нее – белый конверт: он не сможет не заметить его сразу же, как только войдет. Затем, окинув комнату быстрым взглядом, она вышла в холл и поднялась наверх, в детскую.

– Клара! – нежно позвала она.

– Ах, мамочка! – Клара тут же оторвалась от своего кукольного домика и засеменила к матери.

– Клара, а где Билли?

Билли тут же появился из-под кровати.

– Ты что-то мне принесла? – вежливо осведомился он.

Она рассмеялась, но ее смех внезапно оборвался; она прижала к себе обоих детей и страстно их расцеловала. В этот миг она заметила, что у нее по лицу катятся слезы, а покрасневшие детские личики, прижавшиеся к ее внезапно горячим щекам, показались ей прохладными.

– Заботься о Кларе... Всегда... Билли, милый мой...

Билли ничего не понимал и немного испугался.

– Ты плачешь! – мрачно, словно обвиняя ее, сказал он.

– Да... Я знаю...

Клара несколько раз робко всхлипнула, замялась, а затем вцепилась в мать, заливаясь слезами:

– Мамочка, я плохо себя чувствую... Мне плохо!

Бетти тихо ее успокоила:

– Ну-ка, ну-ка, давай-ка перестанем плакать, Клара... И ты, и я!

Но когда она встала, собираясь уйти из комнаты, брошенный на Билли взгляд выражал молчаливую мольбу – пусть она и знала, что нечего было и надеяться, что этот взгляд запечатлется в детском сознании.

Через полчаса, неся чемодан к стоявшему у дверей дома такси, она подняла руку к лицу, безмолвно признав тот факт, что вуаль уже не сможет скрыть ее от всего остального мира.

«Но я сделала свой выбор», – отрешенно подумала она.

Когда машина свернула за угол, она вновь заплакала, с трудом удержавшись от искушения сию же минуту сдаться и вернуться обратно.

– Боже мой! – прошептала она. – Что я делаю? Что же я делаю? Что же это я натворила?

IV

Покинув номер Сильвестра, бледный узколицый официант Джерри пошел к метрдотелю и отпросился с работы пораньше.

Он сел в вагон метро южной линии, сошел на Уильям-стрит, прошел пешком несколько кварталов и вошел в бильярдную.

Через час он вышел; в его вялых губах торчала сигарета. Он постоял на тротуаре, словно колеблясь, принимая какое-то решение, а затем отправился на восток.

Дойдя до известного ему перекрестка, он вдруг прибавил шагу, а затем так же внезапно пошел помедленнее. Казалось, он хочет пройти мимо, но какая-то неведомая магнетическая сила словно бы его притягивает – и он, сделав внезапный разворот кругом, вошел в двери дешевого ресторанчика. Это было то ли кабаре, то ли что-то китайское, где каждый вечер собиралась самая разношерстная публика.

Джерри прошел к столику в самом темном и незаметном углу. Усевшись и продемонстрировав презрение к окружающей его обстановке – что говорило скорее о близком с ней знакомстве, нежели о его превосходстве, – он заказал стакан кларета.

Вечер начался. Толстуха за пианино выжимала последние капли веселья из избитого фокстрота, а тощий и унылый мужчина со скрипкой извлекал скудные и унылые звуки аккомпанеента. Внимание посетителей было направлено на танцовщицу в грязных чулках, густо наруганную, с обесцвеченными перекистью волосами; она вот-вот должна была выйти на небольшой помост, а пока что обменивалась любезностями с энергичным толстяком, сидевшим за ближайшим столиком и пытавшимся завладеть ее рукой.

Из своего угла Джерри наблюдал за этими двоими у помоста; он смотрел и смотрел, и вдруг ему показалось, что потолок исчез, стены превратились в высокие здания, а помост – в верхнюю площадку автобуса, следовавшего прохладным весенним вечером три года назад по Пятой авеню. Энергичный толстяк пропал, короткая юбка танцовщицы стала длинной, щеки ее лишились румян – и он вновь едет с ней рядом, и, как прежде, кружится голова, и высокие здания по-доброму подмигивают им огоньками с верхних этажей, а шум голосов уличной толпы баюкает их, словно колыбельная.

– Джерри, – сказала девушка с верхней площадки автобуса, – я ведь обещала, что, как только ты будешь получать семьдесят пять в неделю, я рискну и дам тебе шанс. Но, Джерри, не могу же я ждать вечно!

Прежде чем ответить, Джерри проводил взглядом несколько промелькнувших мимо табличек с названиями поперечных улиц.

– Я не понимаю, в чем дело, – сокрушенно сказал он, – мне никак не прибавляют жалованья! Мне бы только найти другую работу..

– Поторопись, Джерри, – сказала девушка. – Меня начинает тошнить от такой жизни. Если я не выйду замуж, тогда, пожалуй, пойду работать в кабаре, есть пара предложений... А может, получится и на сцену попасть...

– Держись от всего этого подальше! – торопливо произнес Джерри. – В этом не будет нужды, если ты подождешь еще месяц или два.

– Я не могу ждать вечно, Джерри, – повторила девушка. – Я устала от бедности и одиночества.

– Долго ждать не придется, – сказал Джерри, сжав кулак свободной руки. – Где-нибудь у меня обязательно получится, ты только подожди!

Но автобус стал растворяться в воздухе, вновь стал обретать очертания потолка, а шум апрельской улицы сменился пронзительным воем скрипки, ведь все это было три года тому назад, а теперь он сидел здесь.

Девушка бросила взгляд на помост, обменялась жесткой равнодушной улыбкой с унылым скрипачом, и Джерри забился подальше в свой угол, пристально глядя на нее горящими глазами.

– Теперь твои руки принадлежат всем, кто только их пожелает, – негромко и с горечью воскликнул он. – Мне не хватило силы, чтобы удержать тебя от этого... Э-э-эх, Богом клянусь, ну какой я после этого мужчина?

А девушка у двери продолжала играть с цепкими пальцами толстяка, ожидая, когда нужно будет выходить отрабатывать свой номер.

V

Сильвестр Стоктон беспокойно ворочался в своей постели. Комната, пусть и просторная, казалось, сдавливала ему грудь, а залетавший вместе с лунным светом в окно легкий ветерок, казалось, приносил с собой снаружи лишь груз забот этого мира, с которым ему завтра вновь предстоит столкнуться лицом к лицу.

«Ничего они не понимают, – подумал он. – Им не видно горя, на котором покоится вся эта проклятая жизнь, – только я его и вижу. Все они банальные легкомысленные оптимисты! И улыбаются они потому, что думают, будто всегда будут счастливы».

«Эх, ладно, – уже засыпая, подумал он. – Завтра поеду в Рай, и опять буду терпеть и улыбки, и жару... Вот она какая, эта жизнь – лишь улыбочки да жара, улыбочки да жара».

Плач (Пушкин, простите!)

*Среди неведомых дорожек
малютка-бар в лесу стоял.
Никто не знал о нем, о, Боже!
Никто в нем пьяным не плясал.*

*Когда ненастными ночами,
Мир скрыт от нечестивых глаз,
Лишь окон свет его лучами
осветит путь прекрасных нас!*

*Тот избранный, кто знак особый
знал. Горячительный пил чай.
Теперь же – двери на засовы...
О, горе мне! Увы и ай!*

Эмансипированные и глубокомысленные

Зельде



Прибрежный пират

Эта невероятная история начинается на сказочно синем море, ярком, словно голубой шелк чулка, под небом голубым, словно глаза ребенка. Солнце с запада пускало маленьких зайчиков по воде, и, если внимательно присмотреться, можно было заметить, как они прыгают с волны на волну, постепенно собираясь в широкое золотое монисто за полмили отсюда, понемногу превращаясь в ослепительно яркий закат. Где-то между этим золотым монисто и побережьем Флориды бросила якорь элегантная новенькая паровая яхта. На плетеном канаве, стоявшем на корме под навесом, полулежала светловолосая девушка, читавшая «Восстание ангелов» Анатоля Франса.

Ей было девятнадцать, она была стройна и гибка, ее рот был чарующе капризен, а живые серые глаза светились умом. Ноги без чулок – зато украшенные беззаботно свисавшими с мысков голубыми сатиновыми шлепанцами – она закинула на подлокотник соседнего канаве. Читая, она периодически причащалась половинкой лимона, которую держала в руке. Другая половинка, совсем выжатая, валялась на палубе рядом с ее ногой, медленно перекатываясь с боку на бок под действием почти неощутимых волн.

Вторая половинка лимона почти уже лишилась мякоти, а золотое монисто значительно увеличилось в размерах к тому моменту, когда сонную тишину, окутавшую яхту, неожиданно нарушил громкий звук шагов и на трапе появился увенчанный аккуратной седой шевелюрой пожилой человек в белом фланелевом костюме. Он на мгновение остановился, ожидая, пока глаза привыкнут к солнечному свету, а затем, разглядев девушку под навесом, что-то неодобрительно проворчал.

Если таким образом он хотел вызвать какую-либо реакцию, то был обречен на провал. Девушка спокойно перевернула пару страниц, затем перевернула одну страничку обратно, не глядя поднесла лимон ко рту и еле слышно, но совершенно отчетливо зевнула.

– Ардита! – сурово произнес седой человек.

Ардита издала краткий неопределенный звук.

– Ардита! – повторил он. – Ардита!

Ардита снова лениво поднесла лимон ко рту, откуда выскользнуло одно лишь слово перед тем, как лимон коснулся языка:

– Отстань.

– Ардита!

– Что?

– Ты будешь меня слушать – или я должен позвать слугу, чтобы он тебя держал, пока я буду говорить?

Лимон нарочито медленно опустился.

– Изложи все на бумаге.

– Хватит у тебя совести закрыть эту отвратительную книгу и отбросить этот проклятый лимон хотя бы на две минуты?

– А ты хоть на секунду можешь оставить меня в покое?

– Ардита, только что мне телефонировали с берега...

– Тут есть телефон? – Она впервые проявила слабый интерес.

– Да, так вот...

– Ты хочешь сказать, – изумленно перебила она, – что тебе позволили протянуть сюда кабель?

– Да, и только что...

– А другие лодки не натолкнутся на него?

– Нет, он проходит по дну. Пять мин...

– Вот это да! Будь я проклята! Черт побери! Золотые плоды прогресса, или как там это... Вот это да!

– Позволишь ты мне наконец досказать то, что я начал?

– Валяй!

– Ну так вот... Похоже... – Он сделал паузу и несколько раз в смятении сглотнул. – Да. Юная дева, мне кажется, что полковник Морлэнд позвонил только затем, чтобы напомнить о том, что сегодня мы оба обедаем у него. Его сын Тоби приехал из Нью-Йорка специально, чтобы с тобой познакомиться; кроме того, на обед приглашена и другая молодежь. Последний раз я спрашиваю...

– Нет, – коротко ответила Ардита. – Я не поеду. Я присоединилась к этому чертову круизу с единственной целью – попасть в Палм-Бич, и ты прекрасно это знаешь, и я наотрез отказываюсь знакомиться со всякими чертовыми старыми полковниками, с любыми чертовыми молодыми Тоби и со всей этой чертовой молодежью, и ноги моей не будет на этой чертовой земле этого идиотского штата. Поэтому ты либо везешь меня в Палм-Бич, либо закрываешь рот и проваливаешь отсюда!

– Очень хорошо. Мое терпение лопнуло. В своем страстном увлечении этим человеком – человеком, печально известном своими дебошами, человеком, которому твой отец не позволил бы даже произнести твое имя, – ты скорее походишь на даму полусвета, нежели на леди из тех кругов общества, в которых ты – предположительно – воспитывалась. Отныне...

– Я знаю, – иронично перебила его Ардита. – Отныне ты идешь своей дорогой, а я шагаю своей! Это я уже слышала. Ты знаешь, что мне ничего другого и не надо.

– Отныне, – высокопарно объявил он, – ты мне больше не племянница! Я...

– О-о-о!!! – Ардита издала крик, похожий на агонию грешной души. – Когда ты прекратишь мне надоедать! Когда же ты наконец пойдешь своей дорогой? Когда же ты прыгнешь за борт и утонешь? Ты хочешь, чтобы я запустила в тебя этой книгой?

– Если ты осмелишься сделать что-либо...

Шмяк! «Восстание ангелов» поднялось в воздух, лишь на дюйм отклонилось от цели и громко бухнулось на трап.

Седой мужчина инстинктивно сделал шаг назад и затем два осторожных шажка вперед. Ардита вскочила на ноги и дерзко уставилась на него; ее серые глаза горели бешенством.

– Не подходи!

– Да как ты могла! – воскликнул он.

– Да так и смогла!

– Ты стала невыносимой! Твой характер...

– Это ты заставил меня стать такой! Ни у одного ребенка никогда не было плохого характера с рождения, виноваты только воспитатели! Кем бы я ни стала, во всем виноват ты!

Пробормотав что-то неразборчивое, дядя развернулся и, войдя в рубку, крикнул, чтобы подавали обед. Затем он вернулся к навесу, под которым, снова всецело поглощенная лимоном, устроилась Ардита.

– Я собираюсь на берег, – медленно произнес он. – В девять вечера. Когда я вернусь, мы пойдем обратно в Нью-Йорк, где я верну тебя твоей тетке до конца твоей естественной – или, скорее, неестественной – жизни.

Он замолчал и взглянул на нее; ему сразу же бросилась в глаза ее неуловимая детскость, которая проколола его раздражение, как раздутую шину, и он почувствовал свою беспомощность, неуверенность и всю глупость ситуации.

– Ардита, – сказал он, уже забыв обиду. – Я не дурак. Я знаю жизнь. Я знаю людей. Дитя мое, люди с репутацией распутников не меняются до тех пор, пока не устанут от самих себя, а затем они уже не они – они всего лишь жалкое подобие самих себя. – Он взглянул на нее, ища одобрения, но не услышал в ответ ни звука и продолжил: – Возможно, этот человек

тебя любит, может быть. Он любил многих женщин, и он будет любить еще многих. Месяца еще не прошло, Ардита, с тех пор, как он попал в печально известную историю с рыженькой Мими Мерил; посулил ей золотой браслет, который русский царь якобы подарил его матери. Ты все знаешь – ты же читала газеты.

– Захватывающие сплетни в исполнении беспокойного дядюшка, – зевнула Ардита. – Снимем об этом кино. Злой гуляка строит глазки целомудренной девочке. Целомудренная девочка окончательно соблазняется его кошмарным прошлым. Планирует встретиться с ним в Палм-Бич. Их планы расстраивает беспокойный дядюшка.

– Ты хотя бы можешь сказать, какого черта ты решила выйти за него?

– Уверена, я не смогу этого объяснить, – кратко ответила Ардита. – Возможно, потому, что он – единственный мужчина, плохой или хороший, у которого достаточно воображения и смелости, чтобы жить по своим убеждениям. Может быть, для того, чтобы отгородиться от молодых кретинов, тратящих все свое время на преследование меня по всей стране. А что касается русского браслета, то по этому поводу ты уже можешь быть спокоен. В Палм-Бич он подарит его мне, если ты продемонстрируешь хоть капельку здравого смысла.

– А как насчет той, рыженькой?

– Он не встречался с ней уже полгода, – гневно возразила она. – Не думаешь ли ты, что у меня недостаточно гордости, чтобы следить за такими вещами? Неужели тебе еще не понятно, что я могу делать что угодно с кем угодно, лишь бы мне этого хотелось?

Она гордо, как статуя «Пробуждение Франции», задрала подбородок, но затем испортила всю картину, выставив вперед руку с лимоном.

– Тебя так пленил этот русский браслет?

– Нет, я всего лишь стараюсь предложить тебе аргумент, который может показаться тебе весомым. Я хочу, чтобы ты от меня отстал, – сказала она, и снова ее тон стал повышаться. – Ты знаешь, что я никогда не меняю своих решений. Ты пилишь меня уже три дня, и я начинаю сходить с ума. Я не поеду с тобой на берег! Не поеду! Слышишь? Не поеду!

– Очень хорошо, – сказал он, – но ты не поедешь и в Палм-Бич. Из всех себялюбивых, избалованных, неуправляемых, сварливых и невозможных девчонок, которых я когда-либо...

Плюх! Половинка лимона ударила о его шею. Одновременно с другого борта раздался крик:

– Обед готов, мистер Фарнэм!

Неспособный от ярости говорить, мистер Фарнэм бросил единственный, совершенно уничтожающий взгляд на свою племянницу, отвернулся и быстро сбежал по трапу.

II

Пятый час скатился с солнца и бесшумно плюхнулся в море. Золотое монисто превратилось в сияющий остров; слабый бриз, игравший краями навеса и качавший единственный свисавший с ноги шлепанец, неожиданно принес с собой песню. Стройный хор мужских голосов пел под аккомпанемент двигавшихся в едином ритме, рассекавших морскую воду весел. Ардита подняла голову и прислушалась.

*Горох и морковь,
Колено бобов,
Свинки и кровь.
Парень милый!*

Дуй, ветер, вновь!

*Дуй, ветер, вновь!
Дуй, ветер, вновь!
Со всей силы!*

Брови Ардиты поднялись от изумления. Она тихо сидела и внимательно слушала начало второго куплета.

*Лук-исполин,
Маршалл и Дин,
Голдберг и Грин
И Кастилло!*

*Дуй, ветер, вновь!
Дуй, ветер, вновь!
Дуй, ветер, вновь!
Со всей силы!*

Она с восклицанием отбросила книгу, которая, раскрывшись, упала на палубу, и поспешила к борту. Совсем близко шла большая шлюпка, в которой было семь человек: шестеро гребли, а еще один стоял во весь рост на корме и дирижировал, размахивая палочкой.

*Камни и соль,
Омар, алкоголь,
Взял си-бемоль
Я на вилах.*

Дирижер заметил перегнувшуюся через борт и замороженную странностью текста Ардиту. Он быстро махнул палочкой, и пение в то же мгновение прекратилось. Она заметила, что все гребцы были неграми, а дирижер был единственным белым на лодке.

– Эй, на «Нарциссе»! – вежливо крикнул он.

– В чем соль этого диссонанса? – смеясь, спросила Ардита. – Вы из спортклуба окружающей психушки?

В этот момент лодка коснулась борта яхты, и огромный неуклюжий негр в бабочке повернулся и схватил веревочный трап. Затем, прежде чем Ардита осознала, что происходит, дирижер покинул свое место на корме, взобрался на борт и, задыхаясь, встал перед ней.

– Женщин и детей не трогать! – живо закричал он. – Всех плакс утопить, мужчин сковать цепями!

Изумленная Ардита засунула руки в карманы платья и уставилась на него, лишившись дара речи.

Он был молод, у него на губах играла презрительная усмешка, а на чувственном загорелом лице сияли голубые глаза невинного ребенка. Вьющиеся от влажности волосы были черны как смоль – на дать ни взять волосы греческой статуи, выкрашенной в брюнета. Он был хорошо сложен, элегантно одет и грациозен, как спортсмен.

– Ну, провалиться мне на месте! – ошеломленно сказала она.

Они холодно посмотрели друг на друга.

– Вы сдаете корабль?

– Это приступ остроумия? – поинтересовалась Ардита. – Вы с детства идиот или еще только собираетесь в лечебницу?

– Я спрашиваю, сдаете ли вы корабль?

– Я думала, что в стране сухой закон и спиртное достать нельзя, – презрительно сказала Ардита. – Вы пили политуру? Лучше покиньте эту яхту!

– Да что вы говорите! – Голос молодого человека звучал скептически.

– Убирайтесь с яхты! Вы слышите меня?!

Мгновение он смотрел на нее, как будто осмысливая сказанное.

– Нет! – Его рот презрительно искривился. – Нет, я не сойду с яхты. С нее сойдете вы, если вам так хочется.

Подойдя к борту, он подал отрывистую команду, и в то же мгновение все гребцы вскарабкались по трапу и выстроились перед ним в шеренгу, угольно-черные и темно-коричневые с одного края и миниатюрный мулат ростом четыре фута с небольшим – с другого. Все они были одеты в одинаковые голубые костюмы, покрытые пылью, с пятнами высохшей тины, кое-где порванные. За плечом у каждого свисал маленький, выглядевший очень тяжелым белый мешок, а в руках все держали большие черные футляры, в которых, по всей вероятности, должны были находиться музыкальные инструменты.

– Внимание! – скомандовал молодой человек, звонко клацнув собственными каблуками. – Равняйсь! Смир-но! Бэйб, шаг вперед!

Самый маленький негр быстро шагнул из строя и отдал честь:

– Есть, сэр!

– Назначаешься старшим! Спуститься в трюм, захватить команду и всех связать – всех, кроме судового механика. Привести его ко мне... Так... И сложить сумки здесь, у борта.

– Есть, сэр!

Бэйб снова отдал честь и, развернувшись, собрал вокруг себя оставшихся пятерых. Они шепотом посоветовались и бесшумно гуськом пошли вниз по трапу.

– А теперь, – весело сказал молодой человек Ардите, ставшей немой свидетельницей последней сцены, – если вы поклянетесь своей эмансипированной честью – которая, скорее всего, недорого стоит, – что вы не откроете ваш капризный ротик в течение сорока восьми часов, то можете взять нашу шлюпку и грести на берег.

– А что в противном случае?

– В противном случае вам придется идти с нами в море на корабле.

С легким вздохом облегчения от того, что первое напряжение исчезло, молодой человек занял недавно освобожденное Ардитой канапе и медленно потянулся. Его губы изогнулись в понимающей ухмылке, когда он огляделся вокруг и заметил дорогой полосатый навес, полированную латунь и роскошную оснастку палубы. Его взгляд упал на книгу, а затем и на выжатый лимон.

– Хм, – сказал он, – оппозиционер Джексон заявлял, что лимонный сок проясняет голову. Ваша голова достаточно ясна?

Ардита не снизошла до ответа.

– Спрашиваю потому, что в течение ближайших пяти минут вам предстоит принять ясное решение: либо остаться, либо покинуть судно. – Он поднял книгу и с любопытством ее раскрыл: – «Восстание ангелов». Звучит заманчиво. Французская, вот как? – Он с новым интересом уставился на нее: – Вы француженка?

– Нет.

– Как вас зовут?

– Фарнэм.

– А имя?

– Ардита Фарнэм.

– Что ж, Ардита, нет никакого смысла вот так вот здесь стоять и морщить лобик. Вы должны расстаться с этой нервической привычкой, пока еще молоды. Лучше идите сюда и присядьте.

Ардита достала из кармана резной нефритовый портсигар, вытянула из него сигарету и закурила, стараясь казаться спокойной, несмотря на то что руки ее слегка дрожали. Затем она грациозно прошла по палубе, уселась на другом канapé и выпустила дым изо рта.

– Вам не удастся выгнать меня с яхты, – уверенно произнесла она, – и вы напрасно думаете, что вы здесь надолго задержитесь. Мой дядя в половине седьмого вызовет сюда по радио весь флот.

– Ну-ну...

Она бросила на него быстрый взгляд и уловила беспокойство, на мгновение ясно проступившее в опустившихся уголках его рта.

– Мне все равно, – сказала она, пожав плечами. – Это не моя яхта. Я ничего не имею против небольшого часового круиза. Я даже подарю вам эту книгу, чтобы вам было чем заняться на пограничном катере, который доставит вас в Синг-Синг.

Он презрительно рассмеялся:

– Если это – ваш единственный аргумент, то можно было даже не трудиться об этом говорить. Это всего лишь часть плана, разработанного задолго до того, как я узнал, что на свете существует эта яхта. Если бы ее не было, то была бы какая-нибудь другая, их у этого побережья предостаточно.

– Кто вы такой? – неожиданно спросила Ардита. – И что вам нужно?

– Вы решили не плыть на берег?

– Я об этом и не думала.

– Нас обычно называют, – сказал он, – всех семерых, конечно, – «Картис Карлиль и шесть черных малышей», мы недавно выступали в «Уинтер-Гарден» и «Миднайт-Фролик».

– Вы музыканты?

– Да, были, до сегодняшнего дня. В данный момент, по милости вот этих вот белых сумок, которые вы видите перед собой, мы беглецы от закона, и если награда за нашу поимку еще не достигла двадцати тысяч долларов, то я сильно ошибаюсь.

– А что в сумках? – с любопытством спросила Ардита.

– Ну, – сказал он, – давайте назовем это песком... Пусть пока это будет обычный флоридский песок.

III

Спустя десять минут, после беседы Картиса Карлиля с испуганным судовым механиком, яхта «Нарцисс» уже на всех парах шла на юг сквозь нежные тропические сумерки. Миниатюрный мулат Бэйб, пользовавшийся, по-видимому, полным доверием Карлиля, взял командование на себя. Кок, а также камердинер мистера Фарнэма, единственные оказавшие сопротивление из всего экипажа (если не считать механика), теперь получили достаточно времени для пересмотра своего решения, оказавшись крепко привязанными к собственным койками в трюме. Тромбон Моуз, самый рослый негр, с помощью банки краски занялся удалением надписи «Нарцисс» с носа судна с тем, чтобы на ее месте засияло новое имя – «Хула-Хула», а все остальные собрались на корме и были заняты жаркой игрой в кости.

Распорядившись о том, чтобы еда была приготовлена и сервирована на палубе к семи тридцати, Карлиль снова присоединился к Ардите и, разлегшись на канapé, полузакрыв глаза и впал в состояние глубокой задумчивости.

Ардита критически осмотрела его и немедленно причислила к романтическим личностям. Его возвышенная самоуверенность покоилась на хрупком фундаменте: за всеми его действиями она разглядела нерешительность, которая противоречила высокомерному изгибу его рта.

«Он не похож на меня, – подумала она. – Есть какие-то отличия».

Будучи убежденной эгоисткой, Ардита всегда думала только о себе; она никогда не размышляла о своем эгоизме и вела себя совершенно естественно, так, что ее бесспорный шарм находился в полном согласии с этой чертой ее характера. Хотя ей было уже девятнадцать, она выглядела взрослым, не по годам развитым ребенком, и в отблесках ее юности и красоты все люди, которых она знала, были всего лишь щепками, колеблемыми рябью ее темперамента. Она встречала и других эгоистов – и выяснила на практике, что самоуверенные люди надоедают ей гораздо меньше, чем неуверенные в себе, – но до сих пор не попался ей такой человек, над которым рано или поздно она не взяла бы верх и которого не бросила бы к своим ногам.

Несмотря на то что она узнала эгоиста в сидевшем на соседнем канapé, она не услышала обычного безмолвного «Свистать всех наверх!», означавшего полную готовность к действию; напротив, ее инстинкт подсказал ей, что сам этот человек был крайне уязвим и практически беззащитен. Когда Ардита бросала вызов условностям – в последнее время это было ее основным развлечением, – она делала это из-за жгучего желания быть самой собой; этот же человек, наоборот, был озабочен своим собственным вызовом.

Он был интересен ей гораздо более создавшегося положения, взволновавшего ее так, как только может взволновать десятилетнего ребенка перспектива побывать в театре. Она была безоговорочно уверена в своей способности позаботиться о себе в любых обстоятельствах.

Темнело. Линия берега становилась все более тусклой, темные тучи, как листья, кружили на далеком горизонте, и бледная, неполная луна сквозь туман улыбалась морю. Лунная мгла неожиданно окутала яхту, а в кильватере появилась лунная дорожка. Время от времени, когда кто-нибудь закуривал, вспыхивала спичка, но – если не считать низкого рокочущего звука работающего двигателя и плеска волн – яхта шла безмолвно, как корабль сновидений, рассекающий небесные просторы. Вокруг царил запах ночного моря, который нес с собой безграничное спокойствие.

Наконец Карлиль решил нарушить тишину.

– Вы – счастливая девушка, – вздохнул он. – Мне всегда хотелось быть богатым, чтобы купить всю эту красоту.

Ардита зевнула.

– А я бы с удовольствием стала вами, – откровенно сказала она.

– Конечно – на день, не больше. Но для эмансипе вы, кажется, обладаете завидной смелостью.

– Прошу вас так меня не называть.

– Прошу прощения.

– Что касается смелости, – медленно продолжила она, – то это моя единственная положительная черта. Я не боюсь ничего ни на земле, ни на небе.

– Хм-м, да...

– Чтобы чего-то бояться, – сказала Ардита, – человек должен быть либо очень большим и сильным, либо просто трусом. Я – ни то ни другое. – Она замолчала на мгновение, затем в ее голосе послышалось напряжение. – Ноя хочу поговорить о вас. Что такого, черт возьми, вы сделали и как вам это удалось?

– Зачем вам знать? – хладнокровно ответил он. – Вы что, собираетесь писать обо мне книгу?

– Говорите, – настаивала она. – Лгите мне прямо здесь, под луной. Расскажите мне какую-нибудь потрясающую сказку!

Появился негр, который включил гирлянду маленьких лампочек под навесом и начал сервировать для ужина плетеный столик. Они ели холодную курицу, салат, артишоки и клубничный джем из богатых кладовых судна, и Карлиль начал говорить, поначалу смущенно,

но по мере нарастания ее интереса его речь становилась все увереннее. Ардита едва приоткрылась к пище и все время смотрела на его смуглое юное лицо – красивое, ироничное, немного детское.

Он начал жизнь бедным ребенком в Теннесси, рассказывал он, по-настоящему бедным, так как его семья была единственной белой семьей на всей улице. Он никогда не видел белых детей, но за ним всегда ходила дюжина негритят, страстных его обожателей. Он привлекал их живостью своего воображения и ворохом неприятностей, в которые вечно их затаскивал и из которых вытаскивал. И кажется, именно эти детские впечатления направили выдающийся музыкальный талант в странное русло.

Жила там цветная женщина по имени Белль Поп Калун, игравшая на пианино на вечеринках у белых ребят – милых белых ребятшек, которые всегда проходили мимо Картиса Карлиля, презрительно фыркая. Но маленький «оборвыш» неизменно сидел в назначенный час около пианино и пытался подыгрывать на дудочке, какие обычно бывают у мальчишек. Ему еще не исполнилось и тринадцати, а он уже извлекал живые и дразнящие звуки рэгтайма из потрепанной виолончели в небольших кафе пригородов Нэшвилля. Через восемь лет вся страна от рэгтайма просто сошла с ума, и с собой в турне «Сиротки» он взял шестерых цветных ребят. С пятерыми из них он вместе вырос; шестым же был маленький мулат, Бэйб Дивайн, который работал в Нью-Йоркском порту, а до этого трудился на бермудской плантации – до тех пор, пока не вонзил восьмидюймовое лезвие в спину хозяина. Не успел еще Карлиль осознать, что поймал удачу за хвост, как уже оказался на Бродвее, и предложения подписать контракт посыпались со всех сторон, а денег стало столько, сколько ему и не снилось.

Как раз в это время в его характере наметилась перемена, довольно любопытная и скорее горькая. Он понял, что тратит свои лучшие годы на сидение на сцене с целой кучей черных парней. Их номер был хорош в своем роде – три тромбона, три саксофона и флейта Карлиля, а также его особое чувство ритма, которое и отличало их от сотен других; но неожиданно он стал слишком чувствителен к своему успеху, начал ненавидеть саму мысль о выступлениях: с каждым днем они ужасали его все сильнее.

Они делали деньги, – каждый подписанный контракт приносил все больше и больше, но, когда он пошел к менеджерам и заявил о своем желании оставить секстет и продолжить выступления уже в качестве обычного пианиста, те просто подняли его на смех и сказали, что он сошел с ума – ведь это стало бы «профессиональным самоубийством»! Впоследствии выражение «профессиональное самоубийство» всегда вызывало у него смех. Они все так говорили.

Несколько раз они играли на частных балах, получая по три тысячи долларов за ночь, и, кажется, здесь и выкристаллизовалось все его отвращение к добыванию хлеба насущного таким образом. Они выступали в домах и клубах, куда его бы никогда не пустили при свете дня. Вдобавок он всего лишь играл роль вечного кривляки, что-то вроде возвышенной хористки. Его уже тошнило от одного только запаха театра, от пудры и помады, от болтовни в фойе, от покровительственных аплодисментов из лож. Он больше не мог вкладывать в это свое сердце. Мысль о медленном приближении к роскоши досуга сводила его с ума. Он, конечно, делал кое-какие шаги в этом направлении, но, как ребенок, он лизал свое мороженое так медленно, что не чувствовал никакого вкуса.

Ему хотелось иметь много денег и свободного времени, иметь возможность читать и играть и чтобы вокруг него были такие люди, которых рядом с ним никогда не было – из тех, что, если бы им вообще пришло в голову задуматься о нем, сочли бы его жалким ничтожеством, – в общем, ему хотелось всего того, что он уже начал презирать под общим термином «аристократичность», той аристократичности, которую, как кажется, можно было купить за деньги – но только за деньги, сделанные не так, как делал их он. Тогда ему было двадцать

пять, у него не было ни семьи, ни образования, ни каких-либо задатков для деловой карьеры. Он начал беспорядочно играть на бирже – и через три недели потерял все, до последнего цента.

Затем началась война. Он поехал в Платтсбург, но его преследовало его ремесло. Бригадный генерал вызвал его в штаб и объявил, что он сможет гораздо лучше послужить Родине, если возглавит ансамбль, – так он и провел всю войну, развлекая знаменитостей вдали от линии фронта вместе со штабным оркестром. Это было не так уж и плохо – если не считать того, что при виде пехоты, ковыляющей домой из окопов, он страстно желал быть одним из них. Их пот и грязь казались ему теми единственными священными знаками аристократичности, которые вечно от него ускользали.

– Все случилось на частном балу. Когда я вернулся с войны, все пошло по-прежнему. Мы получили приглашение от синдиката отелей во Флориде. И тогда осталось лишь выбрать время...

Он неожиданно умолк, Ардита выжидательно посмотрела на него, но он покачал головой.

– Нет, – сказал он, – я не собираюсь вам об этом рассказывать. Я получил громадное удовольствие, и теперь боюсь, что оно будет испорчено, если я им с кем-нибудь поделюсь. Я хочу оставить себе те несколько безмолвных, героических мгновений, когда я стоял перед ними и дал им почувствовать, что я – нечто большее, чем дурацкий пляшущий и гогочущий клоун.

С носа яхты неожиданно донеслось тихое пение. Негры собрались на палубе, и их голоса слились в гипнотизирующую мелодию, уплывавшую в резких гармониях вверх, к Луне.

*Мама,
Мама,
Мама хочет отвести меня на Млечный Путь.
Папа,
Папа,
Папа говорит: «Об этом забудь!»
Но мама говорит: «Пойдем!»
Мама говорит: «Пойдем!»*

Карлиль вздохнул и замолчал, глядя вверх на сонм звезд, мерцавших в ясном небе, как электрические лампочки. Негритянская песня перешла в какой-то жалобный стон, и казалось, что мерцание звезд в абсолютной тишине усиливалось с каждой минутой до такой степени, что можно было слышать, как русалки совершают свой полночный туалет, причесывая серебрящиеся мокрые локоны при свете луны и перешептываясь друг с другом о прекрасных затонувших кораблях, в которых они живут на переливающихся зеленых проспектах на дне.

– Смотри, – тихо сказал Карлиль, – вот красота, которой я хотел бы обладать. Красота должна быть поразительной, удивительной – она должна нахлынуть на тебя, как сон, как взгляд идеальной женщины...

Он повернулся к ней, но она молчала.

– Ты видишь, Анита... Я хотел сказать, Ардита?

Но она молчала. Она уснула.

IV

На следующий день, в разгар залитого солнцем полдня, неясное пятно в море прямо по курсу постепенно приобрело очертания серо-зеленого островка суши. Огромный гранитный утес с северной стороны на протяжении мили косогором спускался к югу, и яркие заросли и трава медленно переходили в песок пляжа, исчезающий прямо в прибое. Когда Ардита, сидевшая на своем излюбленном месте, дошла до последней страницы «Восстания ангелов», захлопнула книгу и взглянула вперед, она увидела остров и негромко вскрикнула от удивления, привлекая внимание задумчиво стоявшего у борта Карлиля.

– Это он? Это то место, куда вы шли?

Карл иль вздрогнул от неожиданности:

– Вы меня напугали. – Он громко крикнул шкиперу, стоявшему за штурвалом: – Эй, Бэйб, это и есть твой остров?

Миниатюрная голова мулата появилась в окошке на верхней палубе.

– Да, сэр. Это точно он!

Карлиль подошел к Ардите:

– Выглядит неплохо, не правда ли?

– Да, – согласилась она, – но он не выглядит достаточно большим для того, чтобы на нем можно было бы искать убежища.

– Вы все еще надеетесь на те телеграммы, которыми ваш отец якобы собирался заполнить эфир?

– Нет, – откровенно сказала Ардита. – Я – за вас. Мне бы доставило большое удовольствие помочь вам скрыться.

Он рассмеялся:

– Вы наша Леди Удача. Думаю, что нам придется хранить вас, как талисман – по крайней мере в ближайшее время.

– Вы вряд ли уговорите меня плыть обратно, – холодно заметила она. – Но если у вас получится, то мне ничего больше не останется делать, кроме как начать писать бестселлеры на основе той бесконечной истории вашей жизни, которой вы так любезно поделились со мной вчера.

Он залился краской и слегка отстранился от нее:

– Сожалею, что нагнал на вас скуку.

– О, нет... ну, если не считать того момента, когда вы начали рассказывать, как вам было плохо от того, что вы не могли танцевать с дамами, для которых играли.

Он возмущенно поднялся:

– А у вас довольно злой язычок!

– Простите меня, – сказала она, рассмеявшись, – но я не привыкла к мужчинам, потчующим меня историями своих жизненных амбиций, особенно живущим такой сверхидеальной жизнью.

– Почему же? Чем же обычно услаждают ваш слух мужчины?

– Ну, они говорят обо мне. – Она зевнула. – Они говорят мне, что я – воплощение молодости и красоты.

– А что говорят им вы?

– А я молча соглашаюсь.

– И каждый мужчина говорит вам, что любит вас?

Ардита кивнула:

– А почему бы и нет? Вся жизнь вертится вокруг единственной фразы: «Я люблю тебя».

Карл иль рассмеялся и сел:

– Совершенно верно. Неплохо сказано. Вы придумали?

– Да, ну, точнее, я на это наткнулась. Это не важно. Просто это мудро.

– Это типичное выражение вашего класса, – серьезно произнес он.

– О нет, – быстро перебила она, – не начинайте снова лекцию об аристократичности!

Я не люблю людей, которые говорят о чем-то серьезном по утрам. Это легкая форма безумия, что-то вроде послезавтрачных приступов. Утром нужно либо спать, либо плавать, либо вообще ничего не делать.

Через десять минут они широко развернулись, собираясь пристать к острову с севера.

– Что-то тут не так, – глубокомысленно заметила Ардита. – Вряд ли он хочет просто бросить якорь у этих скал.

Они шли прямо на скалу высотой футов сто с лишком, и только когда до камней оставалось не больше пятидесяти ярдов, Ардита увидела цель. И захлопала в ладоши от удовольствия. В скале была расщелина, совершенно скрытая нависавшим сверху каменным козырьком, и через эту щель яхта прошла в узкий канал, где мягко плескалась кристально чистая вода, окруженная высокими серыми стенами. А затем они бросили якорь в зелено-золотом мирке – залитой солнцем бухте, где вода казалась застывшим стеклом, а по берегам росли небольшие пальмы. Все вместе напоминало зеркальные озера и игрушечные деревья, которые дети ставят в песочницах.

– Чертовски неплохо! – возбужденно воскликнул Карлиль. – Видно, маленький пройдоха прекрасно знает этот уголок Атлантики!

Его чувства были заразительны, и Ардита тоже возликовала:

– Это самое что ни на есть лучшее убежище!

– О господи! Да это же остров из книжки!

На золотую гладь воды спустили шлюпку, и они пошли к берегу.

– Пойдемте осмотрим остров, – сказал Карлиль, когда шлюпка уткнулась носом в мокрый песок.

Бахрому прибрежных пальм окаймляли целые мили ровного песка. Они пошли в глубь острова, на юг, миновали кромку тропической растительности на жемчужно-сером нетропическом пляже, где Ардита сбросила свои коричневые спортивные туфли – как видно, она сознательно избегала носить чулки – и продолжили путь по берегу. Затем, не торопясь, они вернулись на яхту, где неутомимый Бэйб уже успел приготовить для них ланч. Он выставил часового на вершине утеса, чтобы присматривать за морем со всех сторон, хотя у него и были большие сомнения по поводу того, что вход в ущелье был хорошо известен, так как он никогда не видел карты, на которой этот остров был бы обозначен.

– Как называется этот остров? – спросила Ардита.

– Он никак не называется, – рассмеялся Бэйб, – это просто остров, и все.

Поздним вечером они сидели на верхушке скалы, опираясь на огромные валуны, и Карлиль рассказывал ей о своих дальнейших планах. Он был уверен, что погоня тем временем уже началась. По его оценке, общая сумма куша, который они урвали и о котором он все еще избегал с ней говорить, составляла около миллиона долларов. Он рассчитывал отсидеться здесь несколько недель, а затем направиться на юг, избегая оживленных судоходных маршрутов, обогнуть мыс Горн и направиться в Перу, на Калао. Детали вроде топлива и провизии были полностью за Бэйбом, который, кажется, проплыл эти моря во всех ипостасях, начиная с юнги на судне, груженном кофе, и заканчивая первым помощником на бразильской пиратской посудине, шкипер которой был давным-давно повешен.

– Будь он белым, он бы давно уже стал латиноамериканским королем, – категорически заявил Карлиль. – Что касается ума, то на его фоне Букер Вашингтон выглядел бы законченным болваном. В нем собрана хитрость всех рас и национальностей, кровь которых течет в его венах, а их не меньше полдюжины, поверьте на слово! Он обожествовал меня потому, что

я единственный человек на свете, который играет рэгтайм лучше, чем он сам. Мы сидели с ним на пристани в Нью-Йорке, он – с фаготом, я – с гобоем, и играли африканские блюзы, которым уже сотни лет, и крысы выползали из-под свай и рассаживались вокруг, визжа и подвывая, как собаки перед граммофоном.

Ардита оглушительно расхохоталась:

– Да уж рассказывайте!

Карлиль широко улыбнулся:

– Клянусь вам, они...

– И что вы собираетесь делать, когда доберетесь до Калао? – перебила она.

– Сяду на корабль и поплыву в Индию. Я хочу стать раджой. Именно так! Я хочу как-нибудь добраться до Афганистана, купить дворец и репутацию, а затем, лет через пять, объявиться в Англии, с иностранным акцентом и загадочным прошлым. Но сначала – Индия. Ведь говорят, что все золото мира постепенно стекается обратно, в Индию. В этом для меня есть что-то завораживающее. И еще мне нужен досуг для чтения – причем в неограниченных количествах.

– А затем?

– А затем, – вызывающе ответил он, – придет черед аристократичности. Смейтесь, если вам так хочется, но по крайней мере вам следует признать, что я знаю, чего хочу, что вам, как я понимаю, вовсе не свойственно.

– Напротив, – возразила Ардита, ища в кармане портсигар, – в момент нашей встречи я как раз находилась в эпицентре взрыва эмоций всех моих знакомых и родственников; а взрыв этот был вызван тем, что я четко определила свою цель.

– И что это была за цель?

– Это был мужчина.

Он вздрогнул:

– Вы хотите сказать, что решились на помолвку?

– Что-то вроде. Если бы вы не взошли на борт, я бы совершенно точно ускользнула на берег вчера вечером – кажется, будто прошла уже целая вечность! – и встретила бы с ним в Палм-Бич. Он ждет меня там с браслетом, который когда-то принадлежал русской царице Екатерине. Аристократичность тут ни при чем, – быстро проговорила она, – он понравился мне только потому, что у него есть фантазия и необычная смелость убеждений.

– Но ваша семья его не одобрила, да?

– Какая там семья – всего лишь глупый дядюшка да глупая тетушка. Кажется, он был замешан в каком-то скандале с рыжей дамочкой по имени Мими или что-то вроде того, – из мухи сделали слона, как он сказал, а мне мужчины никогда не лгут... И вообще, меня совершенно не касается его прошлое; будущее – вот что меня интересует. Я и смотрела с этой точки. Когда мужчина влюблен в меня, ему больше ничего не нужно. Я сказала ему, и он отбросил ее, как горячий пирожок.

– Завидую, – сказал Карл иль и нахмурился, а затем рассмеялся: – Думаю, что я буду держать вас до тех пор, пока мы не прибудем к Калао. А потом я дам вам сумму, достаточную для того, чтобы вы смогли вернуться в Штаты. Ну а до этого у вас будет достаточно времени, чтобы еще раз взвесить все, что вам известно об этом джентльмене.

– Не говорите со мной таким тоном! – взорвалась Ардита. – Покровительственного тона я не терплю! Понятно?

Он было засмеялся, но тут же перестал, смутившись, так как ее холодная ярость, казалось, окутала его с головы до ног, и ему стало не по себе.

– Мне очень жаль, – неуверенно сказал он.

– О, не извиняйтесь! Не могу видеть мужчин, которые говорят «Мне очень жаль!» таким мужественным, спокойным голосом. Просто замолчите!

Последовала пауза, показавшаяся Карлилю весьма неловкой, но совершенно не замеченная Ардитой, – она сидела и наслаждалась своей сигаретой, глядя на сияющее море. Спустя минуту она переползла на скалу и улеглась там, опустив лицо за край и глядя вниз. Карлиль, наблюдая за ней, думал о том, что ее грация не зависит от позы.

– Скорее сюда! – крикнула она. – Там, внизу, целая куча, уступов. Они широкие, на разных высотах!

Он присоединился к ней, и они вместе стали смотреть вниз с головокружительной высоты.

– Мы пойдем купаться сегодня же! – возбужденно сказала она. – Под луной.

– Разве вам не хочется пойти на пляж с той стороны?

– Нет. Мне нравится нырять. Вы можете взять купальный костюм моего дядюшки – правда, он будет сидеть на вас мешком, ведь он довольно грузный человек. А у меня есть штучка, которая шокировала всех туземцев Атлантического побережья от Бидфорд-Пул до Сант-Августина.

– Так вы русалка?

– Да, я неплохо плаваю. И выгляжу тоже неплохо. Один скульптор прошлым летом сказал, что мои икры стоят пять сотен долларов.

На это ответить было нечего, и Карлиль промолчал, позволив себе только неопределенную улыбку.

V

Когда спустилась ночь и вокруг заиграли серебристо-голубые тени, их шлюпка прошла мерцающей протокой и они, привязав лодку к выступавшему из воды камню, вместе стали карабкаться на скалу. Первый уступ находился на высоте десяти футов, он был широк и представлял собой естественный трамплин для ныряния. В ярком лунном свете они сели на камень и стали смотреть на маленькие волны; вода была почти как зеркало, потому что начался отлив.

– Вам хорошо? – неожиданно спросил он.

Она кивнула в ответ:

– Всегда хорошо у моря. Вы знаете, – продолжила она, – весь день я думала о том, что мы с вами в чем-то похожи. Мы оба бунтари – правда, по разным причинам. Два года назад, когда мне было восемнадцать, а вам...

– Двадцать пять.

– Да, и вы, и я были обычными людьми, добившимися успеха. Я была совершенно потрясающей дебютанткой, а вы – процветающим музыкантом, только что из армии...

– Настоящий джентльмен, со слов Конгресса, – иронично вставил он.

– В общем, как ни крути, мы оба неплохо вписались в общество. Все наши острые углы были если не сточены, то по крайней мере сильно сглажены. Но где-то глубоко внутри нас было что-то, требовавшее для счастья большего. Я не знала, чего я хочу. Я порхала от мужчины к мужчине, без усталости, в предвкушении, месяц за месяцем все более раздражаясь и ничего не находя. Я даже иногда сидела, кусая губы, и думала, что схожу с ума, – я так сильно чувствовала всю мимолетность жизни. Все, что я хотела, мне было нужно тотчас – прямо здесь и сейчас! Вот она я – прекрасная, – не правда ли?

– Да, – нерешительно согласился Карлиль.

Ардита неожиданно встала:

– Одну минуту. Я только попробую эту восхитительно выглядящую воду.

Она подошла к краю уступа и резко прыгнула в море – сделав двойное сальто, она выпрямилась в воздухе и вошла в воду прямо, как лезвие.

Через минуту до него донесся ее голос:

– Знаете, я раньше читала целыми днями и даже по ночам. Я начала презирать общество...

– Поднимайтесь наверх, – перебил он ее, – что вы там такое делаете?

– Просто плыву на спине. Я буду наверху через минуту. Я хочу вам сказать... Единственное, что доставляло мне удовольствие, – это шок других людей: я носила самые невозможные и удивительные платья на вечеринках, появлялась в обществе всем известных нью-йоркских плейбоев и принимала участие в самых адских из возможных скандалов.

Ее слова заглушались плеском воды; затем послышалось ее учащенное дыхание, когда она начала карабкаться сбоку на скалу.

– Давайте тоже! – крикнула она.

Он послушно поднялся и нырнул. Когда он, мокрый, взобрался на скалу, то обнаружил, что ее на уступе нет, но спустя долгую секунду послышался ее негромкий смех с другого уступа, находившегося выше футов на десять. Он присоединился к ней, и мгновение они сидели тихо, обхватив руками колени, восстанавливая дыхание после подъема.

– Вся семья была вне себя, – неожиданно сказала она. – Они попробовали выдать меня замуж и таким образом сбить с рук. И когда я начала уже думать, что, в конце концов, жизнь едва ли стоит того, чтобы жить, я нашла кое-что... – она торжествующе взглянула в небо, – я нашла!

Карлиль ждал продолжения, и ее речь стала стремительной.

– Смелость – вот что! Смелость как норма жизни, то, за что всегда нужно держаться. Я начала воспитывать в себе великую веру в собственные силы. Я увидела, что все мои прошлые кумиры несли в себе какую-то крупную смелости, и именно это меня бессознательно к ним влекло. Я стала отделять смелость от всех остальных вещей. Все проявления смелости: избитый, окровавленный боксер, встающий драться снова и снова, – я раньше заставляла мужчин брать меня с собой на матчи; деклассированная дама, находящаяся в гнезде сплетниц и смотрящая на них так, будто все эти богачки – грязь под ее ногами; нестеснение тем, что тебе всегда нравится; готовность не ставить ни во что мнение других людей – просто жить так, как нравится тебе, и умереть по-своему... Вы взяли с собой сигареты?

Он протянул ей одну и молча поднес спичку.

– Тем не менее, – продолжила Ардита, – за мной продолжали увиваться мужчины – старые и молодые, умственно и физически стоявшие на низшей ступени развития по сравнению со мной, но все же страстно желавшие обладать мной, обладать той притягательной и гордой жизнью, которую я построила для себя. Понимаете?

– Вроде да. Вам не приходилось быть битой, вы никогда не извинялись.

– Никогда!

Она бросилась к краю, на мгновение картинно замерла на фоне неба, широко расставив руки, а затем, описав крутую параболу, без единого всплеска ушла в воду прямо посередине между двумя барашками в двадцати фунтах внизу.

Ее голос снова донесся до него:

– И смелость для меня стала прорывом сквозь плотный серый туман, который опускается на жизнь, – и не только победой над людьми и над обстоятельствами, но и победой над бледностью существования. Чем-то вроде подтверждения ценности жизни и цены мимолетности вещей.

Она уже карабкалась наверх, и с последними словами ее голова с мокрыми светлыми волосами, закинутыми назад, появилась у края скалы.

– Ну хорошо, – возразил Карлиль, – вы можете звать это смелостью, но вся эта смелость в действительности покоится на вашем общественном положении. Вся эта непокорность

была в вас воспитана. А в моей серой жизни даже смелость – всего лишь одна из многих безжизненных и серых вещей.

Она сидела у края, обняв свои колени и просто глядя на луну; он стоял поодаль, втиснутый в каменную нишу, подобный гротескному изваянию какого-то бога.

– Не хочу говорить, как Поллианна, – начала она. – Но тем не менее вы меня не поняли. Моя смелость – это вера, вера в свою бесконечную упругость, в то, что радость всегда возвращается, и надежда, и непосредственность тоже. И я думаю, что до тех пор, пока это так, я должна крепко сжимать свои губы и держать голову высоко, а глаза мои должны быть широко открыты, и нет необходимости во всяких глупых улыбочках. О, я достаточно часто проходила сквозь ад без единого звука, а женский ад будет пострашнее мужского.

– Но предположим, – сказал Карлиль, – что, прежде чем радость, надежда и прочее вернулись бы, туман, окутавший вас, привел бы вас к чему-то большему и лучшему?

Ардита встала, подошла к стене и не без труда вскарабкалась на следующий уступ, еще на десять – пятнадцать футов выше.

– Ну и что, – крикнула она оттуда, – все равно я победила!

Он подошел к краю так, чтобы видеть ее.

– Лучше не ныряйте оттуда! Вы разобьетесь! – крикнул он.

Она рассмеялась:

– Только не я!

Она медленно развела руки в стороны и, как лебедь, застыла, излучая гордость своим юным совершенством, отдававшимся в груди Карлиля чем-то теплым.

– Мы проходим сквозь ночь, широко раскинув руки, – крикнула она, – и наши ноги выпрямлены и подобны хвостам дельфинов, и мы думаем, что никогда не коснемся серебряной глади там, внизу, – до тех пор, пока все вокруг нас мгновенно не превращается в теплые и нежные волны!

И вот она взмыла в воздух, и Карлиль невольно задержал дыхание. До этого он не осознавал, что она прыгнула с сорока футов. Ему казалось, что до того мгновения, когда послышался короткий звук, означавший, что она вынырнула, прошла вечность.

Услышав ее негромкий смех где-то сбоку от утеса, он вздохнул с облегчением и осознал, что любит ее.

VI

Не преследовавшее никаких целей время сыпалось песком сквозь их пальцы на протяжении трех дней. Когда спустя час после рассвета солнце показывалось в иллюминаторе каюты Ардиты, она с радостью вставала, надевала купальный костюм и шла на палубу. Увидев ее, негры оставляли работу и толпились у борта, хихикая и тараторя, в то время как она плавала, подобно проворной рыбке, то исчезая, то возникая над поверхностью воды. Когда наступала вечерняя прохлада, она снова шла плавать и бездельничать вместе с Карлилем, покуривая на утесе, или же просто болтала с ним ни о чем, лежа на песке южного пляжа, а в основном занимаясь созерцанием того, как ярко и драматично день погружается в безграничную тишину тропического вечера.

Под действием долгих, заполненных солнцем часов Ардита перестала считать это происшествие нелепой случайностью, оно стало оазисом романтики в пустыне реальности. Она боялась, что скоро настанет момент, когда он отправится на юг; она стала страшиться всех непредвиденных обстоятельств, которые могли возникнуть на его пути; мысли были неожиданно беспокойными, а все решения представлялись ненавистными. Если бы среди варварских ритуалов, открытых ее душе, нашлось бы место молитве, она просила бы только о том, чтобы на некоторое время все оставалось неизменным. Она и сама не заметила, что при-

выкла принимать как данное готовый поток наивной философии Карлиля, рожденной его мальчишеским воображением и расположением к мономании, которое, казалось, проходило главной артерией сквозь весь его характер и окрашивало каждое его действие.

Но этот рассказ вовсе не о двоих на острове; любовь, порождаемая изоляцией, не главное. Главное – это две личности, и идиллическое место действия среди пальм на пути Гольф-стрима – всего лишь случайное обстоятельство. Большинство из нас вполне довольны одной только возможностью существовать, плодиться, а также бороться за право это делать, но доминирующая идея, подспудное желание управлять чужими судьбами, выпадает на долю лишь счастливым – или не очень? – немногим. Для меня самое интересное в Ардите – это смелость в столкновении с ее красотой и молодостью.

– Возьми меня с собой! – сказала она в один из вечеров, когда они лениво сидели на траве под одной из даривших днем тень пальм.

Негры привезли на берег свои музыкальные инструменты, и звуки диковинного рэг-тайма медленно плыли окрест, смешиваясь с теплым дыханием ночи.

– Мне хотелось бы появиться здесь снова, через десять лет, в образе сказочно богатой и знатной индианки, – продолжила она.

Карл иль бросил на нее быстрый взгляд:

– Ты же знаешь, что ты можешь сделать это.

Она рассмеялась:

– Это предложение руки и сердца? Экстра-класс! Ардита Фарнэм становится невестой пирата! Девушка из общества похищена музыкантом – потрошителем банков!

– Это был не банк.

– А что это было? Почему ты не хочешь мне рассказать?

– Я не хочу разрушать твоих иллюзий.

– Мой дорогой, у меня насчет тебя нет никаких иллюзий.

– Я имел в виду твои иллюзии насчет себя самой.

Она удивленно посмотрела на него:

– Насчет меня? Да что я вообще могу иметь общего с бог знает каким криминалом, которым занимался ты?

– Поживем – увидим!

Она встала и погладила его по руке.

– Дорогой мистер Картис Карлиль, – тихо сказала она, – вы что, в меня влюбились?

– Как будто это что-то значит.

– Но это действительно значит – потому что я думаю, что я тебя люблю.

Он иронично посмотрел на нее.

– Таким образом, ваш счет в январе составит ровно полдюжины, – предположил он. – Думаете, я приму ваш блеф и попрошу поехать со мной в Индию?

– Уверена!

Он пожал плечами:

– Можно пожениться в Калао.

– Какую жизнь ты можешь мне предложить? Я не хочу тебя обидеть, я совершенно серьезно: что будет со мной, если те, кто очень хотят получить награду в двадцать тысяч, когда-нибудь достигнут своей цели?

– Я думал, что ты ничего не боишься.

– А я и не боюсь, просто не хочу потратить свою жизнь впустую ради того, чтобы это доказать.

– Как бы я хотел, чтобы ты была из бедных. Обычной бедной девочкой, мечтающей в тени забора где-нибудь в южной глубинке.

– Так было бы лучше?

– Я бы получал удовольствие от твоего изумления – просто наблюдая, как твои глаза широко раскрывались бы, глядя на вещи. Если бы они были тебе нужны! Понимаешь?

– Кажется. Как у девушек, рассматривающих витрины ювелирных магазинов?

– Да. Которым хочется иметь овальные часы из платины и чтобы по краям – изумруды. И как только ты решила бы, что они слишком дороги, и выбрала бы что-нибудь из белого золота за сотню долларов, я бы сказал: «Слишком дорогие? Ну нет!» И мы бы зашли в магазин, и очень скоро платина бы матово засияла на твоём запястье.

– Это звучит так мило и вульгарно – и смешно, не правда ли? – промурлыкала Ардита.

– Не правда ли? Да ты только представь себе, как мы путешествуем по миру, разбрасывая деньги направо и налево, боготворимые посыльными и официантами! О, блаженны простые богачи, ибо они наследуют землю!

– Я действительно хочу, чтобы так все и было.

– Я люблю тебя, Ардита, – нежно сказал он.

На мгновение детскость пропала с ее лица, – оно стало необычно серьезным.

– Мне нравится быть с тобой, – сказала она, – больше, чем с любым другим мужчиной из всех, каких я только встречала. И мне нравятся твои глаза, и твои темные волосы, и как ты перескакиваешь через борг, когда мы ходим на берег. Фактически, Карлис Карлиль, мне нравится в тебе все, когда ты ведешь себя естественно. Я думаю, что у тебя сильная воля, и ты знаешь, как я это ценю. Иногда рядом с тобой меня одолевает искушение неожиданно поцеловать тебя и сказать тебе, что ты – просто мальчишка, голова которого набита идеалами и всяким вздором о классовых различиях. Если бы я была немного старше и немного более устала от жизни, я бы, вероятно, пошла с тобой. Но сейчас я хочу вернуться домой и выйти замуж – за другого.

На той стороне посеребренного залива в лунном свете извивались и корчились фигуры негров, – они не могли не повторять свои трюки от переизбытка нерастроченной энергии, как акробаты, которым пришлось провести много времени в бездействии. Они все, как один, маршировали, описывая концентрические окружности, то забросив головы назад, то нависая над своими инструментами, как пасторальные фавны. Тромбон и саксофон вторили друг другу, рождая мелодию, то буйно-веселую, то назойливо-жалостную, как пляска смерти в сердце Конго.

– Давай потанцуем! – крикнула Ардита. – Я не могу спокойно слушать такой шикарный джаз!

Взяв ее за руку, он привел ее на широкий участок твердого песчаника, который ярко сверкал под луной. Они порхали, как прекрасные мотыльки в ярком сумрачном свете, и фантастическая гармония, плачущая и ликующая, дрожащая и отчаянная, заставила Ардиту потерять чувство реальности; она полностью отдалась исполненным грез ароматам тропических цветов и безграничным звездным пространствам над головой, чувствуя, что если она откроет глаза, то может оказаться, что она танцует с призраком на планете, созданной ее собственным воображением.

– Вот так я себе и представлял настоящий танец, – прошептал он.

– Я чувствую, что схожу с ума, и мне так здорово!

– Мы заколдованы. Тени бесчисленных поколений каннибалов наблюдают за нами с высоты того утеса.

– Бьюсь об заклад, каннибалки говорят, что мы танцуем слишком близко друг к другу и что я выгляжу совершенно непристойно без кольца в носу.

Они оба тихо рассмеялись – но смех утих, когда они услышали, что на той стороне озера звуки тромбонов замерли на полуноте, а саксофоны издали резкие стоны и тоже замолчали.

– Что случилось? – крикнул Карлиль.

Ответа не последовало, но через минуту они заметили человека, бежавшего по берегу серебрящегося в лунном свете озера. Когда он приблизился, они увидели, что это был необыкновенно возбужденный Бэйб. Он перешел на шаг и выпалил свои новости:

– В полумиле стоит корабль, сэр. Моуз, он на вахте, сказал, что они бросили якорь.

– Корабль... Что за корабль? – обеспокоенно спросил Карлиль.

В его голосе слышалось смятение, и сердце Ардиты забилося сильнее, когда она увидела, что лицо его осунулось.

– Он говорит, что не знает, сэр.

– Они спустили шлюпку?

– Нет, сэр.

– Поднимаемся наверх! – сказал Карлиль.

Они молча поднялись на холм, и рука Ардиты после танца все еще лежала в руке Карлиля. Она чувствовала, как нервно он сжимает ее время от времени, как будто не отдавая себе отчета, и, хотя ей было немного больно, она даже не пыталась освободиться. Казалось, прошел час, пока они взобрались на вершину, осторожно переползли освещенную площадку и оказались у края скалы. Бросив взгляд на море, Карлиль невольно вскрикнул. Это был пограничный катер с шестидюймовыми пушками на носу и на корме.

– Они знают! – сказал он, шумно вздохнув. – Они знают! Нас каким-то образом выследили.

– Ты уверен, что они знают про расщелину? Они могли просто бросить якорь, чтобы взглянуть на остров при солнечном свете. Оттуда, где они стоят, расщелина не видна.

– Видна, если посмотреть в бинокль, – безнадежно произнес он. Затем он взглянул на часы: – Сейчас почти два. Они ничего не предпримут до рассвета, в этом я уверен. Конечно, остается еще слабая надежда на то, что они просто ждут какой-то другой корабль – может, угольщик...

– Пожалуй, переночуем прямо здесь.

Спустя два часа они лежали все там же, бок о бок, уткнув подбородки в локти, как это часто делают дети во сне. Позади сидели негры, спокойные, молчаливые и покорные судьбе, время от времени извещавшие звонким храпом о том, что даже опасность не покорит непобедимую африканскую склонность ко сну.

Около пяти утра к Карлилю подошел Бэйб. Он сказал, что на борту «Нарцисса» есть полдюжины винтовок. Было ли принято решение не оказывать сопротивления? Хорошую драку можно было бы устроить, сказал он, если заранее разработать план.

Карлиль рассмеялся и покачал головой:

– Это не кучка шпиков, Бэйб. Это пограничный катер. Это все равно, что лук со стрелами выставить против пулемета. Если ты хочешь где-нибудь спрятать мешки, чтобы потом их забрать, давай, действуй. Но это вряд ли сработает, – они перекопают остров вдоль и поперек. Битва проиграна, Бэйб. – Бэйб молча поклонился и развернулся, а Карлиль повернулся к Ардите и хрипло сказал:

– Это мой самый лучший друг. Он с радостью отдал бы за меня жизнь, если бы я ему позволил.

– Вы сдаетесь?

– У меня нет выбора. Конечно, выход есть всегда – самый надежный выход, – но это подождет. Я ни за что не пропущу суд над собой – это будет интересное испытание славой, пусть и дурной. «Мисс Фарнэм свидетельствует, что пират все это время относился к ней как джентльмен».

– Не надо! – сказала она. – Мне ужасно жаль...

Когда небо поблекло и матово-синий цвет сменился свинцово-серым, на палубе корабля стало наблюдаться какое-то движение, а у борта появились офицеры в белых парусиновых костюмах. В их руках были бинокли, они внимательно изучали островок.

– Вот и все, – мрачно промолвил Карлиль.

– Черт возьми! – прошептала Ардита. Она почувствовала, что слезы подступают к глазам.

– Мы возвращаемся на яхту, – сказал он. – Я предпочитаю, чтобы меня взяли там, а не гнали по земле, как опоссума.

Оставив площадку, они спустились к подножию холма, дошли до озера и сели в шлюпку, в которой притихшие негры доставили их на яхту. Затем, бледные и измученные, они уселись на канапе и стали ждать.

Спустя полчаса в предрассветных сумерках из устья канала показался нос пограничного катера, который сразу же остановился, явно опасаясь, что бухта может оказаться для него слишком мелка. Но, увидев яхту, мирно качавшуюся на волнах, мужчину и девушку на канапе и негров, с праздным любопытством слонявшихся по палубе, на катере решили, что сопротивления не будет, и с обоих бортов небрежно спустили две шлюпки, в одной из которых находился офицер с шестью матросами, а в другой – четверо гребцов и двое седовласых мужчин в костюмах яхтсменов на корме. Ардита и Карлиль поднялись и, сами того не сознавая, прильнули друг к другу. Затем он неожиданно сунул руку в карман, извлек оттуда круглый, блестящий предмет и подал его ей.

– Что это? – удивилась она.

– Я не уверен, но, судя по русским буквам, которые можно разглядеть на внутренней стороне, думаю, что это обещанный вам браслет.

– Откуда... откуда вы...

– Он из этих сумок. Видите ли, «Картис Карлиль и шесть черных малышей» прямо во время своего выступления в холле отеля «Палм-Бич» неожиданно сменили инструменты на автоматы и ограбили зрителей. Я взял этот браслет у симпатичной, сильно напудренной рыжеволосой леди.

Ардита нахмурилась а затем улыбнулась:

– Так вот что вы сделали! Да, смелости вам не занимать.

Он поклонился.

– Свойственное всем буржуа качество, – сказал он.

А затем на палубу косо упал рассвет, расшвыривая по серым углам дрожащие тени. Утренняя роса превратилась в золотой туман, невесомый, как сон, окутавший их так, что они стали похожи на призрачные тени прошедшей ночи, бесконечно мимолетные и уже поблекшие. В это мгновение и море, и небо погрузились в тишину, будто рассвет своей розовой ладошкой прикрыл дыхание жизни, а затем из бухты донеслись жалобные стоны уключин и плеск весел.

На фоне золотого горнила, заплывшего с востока, их грациозные фигуры неожиданно слились в одну, и он поцеловал ее прямо в капризно изогнутые губы.

– Я как в раю, – пробормотал он через секунду.

Она улыбнулась ему:

– Счастлив, да?

И ее вздох стал благословением – экстатической уверенностью в том, что в этот момент она была, как никогда, юна и прекрасна. Еще мгновение жизнь была лучезарной, а время – призрачным, и их сила – бесконечной, а затем раздался глухой удар и царапающий звук шлюпки, вставшей у борта.

По трапу вскарабкались двое седовласых мужчин, офицер и пара матросов, державших в руках револьверы. Мистер Фарнэм раскрыл было руки для объятий, но остановился, глядя на племянницу.

– Н-да, – сказал он, медленно опустив голову.

Она со вздохом отстранилась от Карлиля, и ее взгляд, преображенный и отсутствующий, упал на поднявшихся на борт. Дядя заметил, как ее губы высокомерно искривились – ему была знакома эта гримаса.

– Итак, – с чувством произнес он, – вот как ты, оказывается, представляешь себе романтику. Убежать ото всех и завести роман с морским разбойником.

Ардита беззаботно посмотрела на него.

– Какой же ты старый и глупый, – негромко сказала она.

– Это все, что ты намерена сказать в свою защиту?

– Нет, – сказала она, как бы задумавшись. – Нет, есть кое-что еще. То самое хорошо тебе известное выражение, которым я заканчивала большинство наших разговоров на протяжении последних нескольких лет, – «Отстань!».

И с этим она, бросив быстрый презрительный взгляд на двух стариков, офицера и обоих матросов, развернулась и гордо сошла по трапу вниз, в кают-компанию.

Но если бы она задержалась еще на миг, то смогла бы услышать нечто, что было совершенно несвойственно ее дядюшке в подобных ситуациях. Он весело, от всего сердца, рассмеялся, а через секунду к нему присоединился и второй старик.

Он проворно повернулся к Карлилю, который, как ни странно, наблюдал всю эту сцену, тоже еле сдерживая смех.

– Ну что, Тоби, – сказал он добродушно, – неизлечимый ты мой романтик и неосторожный мечтатель, ты действительно нашел то, что надо?

Карл иль утвердительно улыбнулся:

– Естественно. Я был совершенно в этом уверен уже тогда, когда впервые услышал ее бурную биографию. Вот почему вчера я поручил Бэйбу запустить ракету.

– Я рад за тебя, – серьезно произнес полковник Морлэнд. – Мы все время держались поближе к тебе на случай, если бы вдруг у тебя возникли какие-нибудь проблемы с этими шестью непонятными неграми. Мы так и думали, что застанем вас в каком-нибудь... положении вроде этого, – вздохнул он. – Н-да, рыбак рыбака видит издалека.

– Мы с твоим отцом не спали всю ночь, надеясь на лучшее... или, уж скорее, на худшее. Бог знает, почему она тебе так понравилась, мой мальчик. Я от нее чуть с ума не сошел. Ты подарил ей этот русский браслет, который детектив добыл у девицы Мими?

Карл иль кивнул.

– Тсс! – сказал он. – Она поднимается на палубу.

Ардита показала на трапе и бросила произвольный взгляд на запястья Карлиля. На ее лице появилось озадаченное выражение. На корме негры затянули песню, и их низкие голоса эхом отдавались от поверхности чистой прохладной воды.

– Ардита, – неуверенно начал Карлиль.

Она сделала шаг по направлению к нему.

– Ардита, – повторил он, задержав дыхание, – я должен сказать тебе правду. Все это было выдумкой. Меня зовут не Карлиль. Я – Морлэнд, Тоби Морлэнд. Ардита, вся эта история родилась... Родилась из призрачного тумана Флориды.

Она устала на него, ничего не понимая, не веря, и краска гнева стала волнами подниматься на ее лицо. Трое мужчин затаили дыхание. Морлэнд-старший шагнул к ней; рот мистера Фарнэма приоткрылся в паническом ожидании краха всего плана.

Но ничего не случилось. Ардита просияла, улыбнулась, быстро подошла к Морлэнду-младшему и посмотрела на него. В ее серых глазах не было и намека на гнев.

– Ты можешь поклясться, – негромко сказала она, – что все это – продукт твоего собственного воображения?

– Клянусь, – пылко ответил Морлэнд.

Она опустила глаза и нежно его поцеловала.

– Какая фантазия! – тихо, с завистью в голосе сказала она. – Хочу, чтобы ты всю жизнь так же мило мне лгал!

Донеслись негромкие голоса негров, слившиеся в воздухе в песню, которую она уже слышала.

Время, ты – вор.

Радость и боль

Подобны листья,

Что желтеет...

– А что же было в сумках? – нежно спросила она.

– Флоридский песок, – ответил он. – Два раза я все же сказал тебе правду.

– И кажется, я догадываюсь, когда был второй раз, – сказала она; затем, встав на цыпочки, она нежно поцеловала... *журнальную иллюстрацию.*

Ледяной дворец

Солнечный свет стекал по дому, словно золотая краска по расписной вазе, а лежавшие то тут, то там пятна тени лишь усиливали ощущение неподвижности в солнечной ванне. Примыкавшие друг к другу дома Баттервортов и Ларкинов скрывались за высокими и густыми деревьями; от солнца не прятался лишь дом Хопперов, дни напролет с добродушным и бесконечным терпением глядевший на пыльную дорогу. В городе Тарлтон, на самом юге штата Джорджия, стоял сентябрьский день.

В окне спальни второго этажа Салли Кэрролл Хоппер, опираясь своим девятнадцатилетним подбородком о пятидесятидвуухлетний подоконник, наблюдала, как выворачивает из-за угла древний «форд» Кларка Дэрроу. Машина нагрелась: металлические детали собирали все поглощаемое из воздуха и выпускаемое изнутри тепло; на лице Кларка Дэрроу, сидевшего за рулем прямо, как стрела, замерло страдальческое утомленное выражение, словно он считал себя одной из этих деталей и собирался вот-вот выйти из строя. Кларк старательно перевалил через две пыльные дорожные колеи – колеса при этом негодуяще взвизгнули, а затем с ошарашенным выражением в последний раз повернул руль, замерев вместе с автомобилем почти точно перед ступеньками крыльца Хопперов. Раздался жалобный высокий звук, похожий на предсмертный хрип, за ним последовала недолгая тишина; затем воздух разорвал резкий гудок.

Салли Кэрролл полусонно посмотрела вниз. Она хотела было зевнуть, но, поскольку это было невозможно сделать, не отрывая подбородка от подоконника, она передумала и продолжила молча смотреть на автомобиль, владелец которого все с тем же небрежным изяществом сидел по стойке «смирно», ожидая ответа на поданный сигнал. Через некоторое время гудок клаксона вновь разорвал насыщенный пылью воздух.

– Доброе утро.

Кларк с трудом развернул свое длинное туловище и искоса посмотрел на окно:

– Уже не утро, Салли Кэрролл!

– Да неужели? Ты уверен?

– Что делаешь?

– Яблоко ем.

– Хочешь, поедем купаться?

– Пожалуй.

– Тогда поторопись!

– Конечно.

Салли Кэрролл издала долгий вздох и вяло поднялась с пола, на котором все это время лежала, занимая себя попеременно то уничтожением нарезанных долек зеленого яблока, то раскрашиванием бумажных конусов для младшей сестры. Она подошла к зеркалу, посмотрела на себя с самодовольной и приятной томностью, чуть подкрасила помадой губы и припудрила нос. Затем украсила свои коротко стриженные светлые волосы панамой с разбросанными по ней в беспорядке розочками. Случайно опрокинула баночку с водой, сказала: «Черт возьми!» – но поднимать не стала и вышла из комнаты.

– Ну как ты, Кларк? – спросила она через минуту, ловко вскочив в машину сбоку.

– Отлично, Салли Кэрролл!

– Куда поедем купаться?

– В бассейн Уолли. Я договорился с Мэрилин, что мы заедем за ней и Джо Эвингом.

Кларк был худой и темноволосый, а когда стоял, слегка сутулился. У него был несколько зловецкий и нахальный взгляд – если только на лице не сияла его обычная изумительная улыбка. Кларк обладал «доходом»: его хватало, чтобы ничего не делать, но при

этом оплачивать бензин для машины. Поэтому два года после окончания Технологического института штата Джорджия он провел, валяжно разгуливая по ленивым улочкам родного городка и беседуя о том, как бы лучше вложить свой капитал и побыстрее превратить его в состояние.

Слоняться без дела ему было отнюдь не тяжело; девчонки из его детства теперь подросли и превратились в красавиц, и первой среди них стала изумительная Салли Кэрролл; все они были в восторге, когда их приглашали поплавать, потанцевать или же просто погулять в летние вечера, наполненные ароматами цветов, и всем им очень нравился Кларк. Когда девичья компания приедалась, рядом всегда оказывалось с полдюжины парней, которые все поголовно тоже вот-вот собирались заняться каким-нибудь делом, ну а пока с неизменным энтузиазмом присоединялись к Кларку: то поиграть в гольф, то в бильярд, а то и просто распить кварту местного кукурузного виски. Время от времени кто-нибудь из этих сверстников совершал круг прощальных визитов перед отъездом в Нью-Йорк, в Филадельфию или в Питтсбург или же перед наймом на работу; но в основном все они так и продолжали слоняться по улицам среди медлительного шествия сонных небес, мерцания вечерних светлячков и шума негритянских голосов на уличных ярмарках – и особенно среди милых и нежно-голосых девушек, в воспитание которых было вложено много воспоминаний, а не денег.

«Форд» завелся, выразив звуком все свое негодование от того, что его побеспокоили. Кларк и Салли Кэрролл с грохотом покатали вдоль по Уэлли-авеню к Джефферсон-стрит, где пыльный проселок переходил в мостовую; проехали по снотворному кварталу Миллисент-плейс, состоявшему из полдюжины богатых и солидных особняков; затем выехали в центр города. Здесь движение становилось опасным, потому что в этот час все спешили за покупками: беспечные горожане лениво бродили по улицам, перед безмятежным трамваем пастух гнал стадо негромко мычащих коров; даже лавки, казалось, зевали дверными проемами и моргали витринами на солнце, погружаясь в состояние абсолютной и окончательной комы.

– Салли Кэрролл, – вдруг произнес Кларк, – а правда, что ты помолвлена?

Она бросила на него быстрый взгляд:

– Это кто тебе сказал?

– Какая разница? Так ты помолвлена?

– Ну и вопрос!

– Одна девушка мне рассказала, что ты помолвлена с янки, с которым познакомилась в Ашвилле прошлым летом.

Салли Кэрролл вздохнула:

– Не город, а большая деревня!

– Не выходи за янки, Салли Кэрролл! Ты нужна нам здесь!

Салли Кэрролл на мгновение задумалась.

– Кларк, – вдруг сказала она, – а за кого же мне тогда выходить, а?

– Могу предложить свои услуги.

– Милый, ну и как ты собираешься содержать жену? – весело ответила она. – Кроме того, я тебя так хорошо знаю, что не могу в тебя влюбиться!

– Но это не значит, что ты должна выходить замуж за янки! – продолжал он.

– А если я его люблю?

Он покачал головой:

– Это невозможно. Они на нас совсем не похожи – ни капельки.

Он умолк, остановив машину перед просторным обветшалым домом. В дверях показались Мэрилин Уэйд и Джо Эвинг.

– Привет, Салли Кэрролл!

– Привет!

– Как дела?

– Салли Кэрролл, – спросила Мэрилин, едва они тронулись в путь, – ты помолвлена?

– Боже мой, да кто распустил эти слухи? Стоит мне лишь взглянуть на мужчину, как весь город тут же начинает судачить о моей помолвке!

Кларк смотрел прямо перед собой, с преувеличенным вниманием изучая болтик на громыхавшем ветровом стекле.

– Салли Кэрролл, – произнес он с необычным напряжением, – разве мы тебе не нравимся?

– Что?

– Мы, твои друзья, здесь?

– Кларк, ты же знаешь, что это не так! Я обожаю вас всех, всех здешних парней!

– Тогда почему ты согласилась на помолвку с янки?

– Кларк, я не знаю. Я не очень представляю, что меня ждет, но я хочу везде побывать, поглядывать людей. Я хочу развиваться. Хочу жить там, где происходят всякие важные вещи.

– Что ты хочешь этим сказать?

– Ох, Кларк... Я люблю тебя, и люблю Джо, и Бена Аррота тоже, и вообще всех вас люблю, но ведь вы... Вы все...

– Мы все неудачники?

– Да. Я говорю не только о деньгах, но и том, что вы все... не ищите ничего, ничего не хотите достичь, и это очень печально... Ну как мне тебе объяснить?

– И ты так считаешь потому, что мы все живем тут, в Тарлтоне?

– Да, Кларк. И еще потому, что вам здесь все нравится и вы не хотите ничего менять, ни о чем не думаете и никуда не двигаетесь.

Он кивнул, а она потянулась и сжала его руку.

– Кларк, – нежно сказала она, – я ни за что на свете не смогла бы тебя изменить. Ты и так очень милый. И все, что приведет тебя к неудаче, я всегда буду любить: и то, что ты живешь прошлым, и дни и вечера, наполненные ленью, и твою беспечность, и твою щедрость.

– Но все же ты хочешь уехать?

– Да. Потому что я никогда не выйду за тебя замуж. В моем сердце ты занимаешь то место, которое не сможет занять никто другой, но, если мне придется здесь остаться, я никогда не успокоюсь. Я всегда буду чувствовать, что трачу свои силы зря. Видишь ли, у моей души есть две стороны. Одна из них – сонная и медлительная, та, которую любишь ты; вторая – энергичная, которая толкает меня на всякие дикие поступки. И эта моя черта где-нибудь обязательно пригодится и останется со мной, когда исчезнет моя красота.

Салли Кэрролл умолкла с характерной внезапностью, вздохнув: «Ну, слава богу!» – ведь ее настроение уже изменилось.

Прикрыв глаза и откинув голову назад, на спинку сиденья, она отдалась во власть благоухающего ветерка, обдувавшего ее веки и взъерошивавшего мягкие завитки ее коротко стриженных волос. Они уже выехали из города; дорога петляла между спутанной порослью ярко-зеленого кустарника, травы и высоких деревьев, листва которых хранила приятную прохладу. То тут, то там мелькали убогие негритянские хижины, у дверей которых восседали седовласые старцы, покуривая трубочки из высушенных кукурузных початков, а в нестриженной траве неподалеку с полдюжины скудно одетых негрят играли с оборванными тряпичными куклами. Вдалеке виднелись ленивые хлопковые поля, на которых даже работники казались неосознаваемыми теньями, которые солнце дарило земле, но не для тяжких трудов, а лишь для того, чтобы поддержать вековую традицию золотых сентябрьских дней. И над всей этой усыпляющей живописностью, над деревьями, лачугами и илистыми водами рек, царило тепло – не враждебное, но приятное, словно огромное теплое материнское лоно матушки-земли.

- Салли Кэрролл, приехали!
- Бедная детка утомилась и уснула!
- Милая, так ты все-таки смогла умереть от лени?
- Вода, Салли Кэрролл! Прохладная водичка ждет тебя!
- Она открыла сонные глаза.
- Привет! – пробормотала она, улыбаясь.

II

В ноябре с севера страны на четыре дня приехал Гарри Беллами – высокий, широкоплечий и энергичный. Он намеревался уладить дело, которое откладывалось с середины прошлого лета – с тех самых пор, как в Ашвилле, что в штате Северная Каролина, он познакомился с Салли Кэрролл.

Улаживание заняло всего лишь один тихий день и вечер перед горящим камином, поскольку Гарри Беллами обладал всем, что было нужно Салли Кэрролл; кроме того, она его любила. Его любила та часть ее души, которая предназначалась у нее специально для любви. Душа Салли Кэрролл обладала несколькими хорошо различимыми частями.

В последний день перед его отъездом они пошли гулять, и она обнаружила, что ноги сами несут ее к одному из любимых мест: к кладбищу. Когда в веселых лучах солнца показались серо-белые камни и зелено-золотистая ограда, она в нерешительности остановилась у железных ворот.

- Гарри, а ты легко поддаешься печали? – спросила она, чуть улыбнувшись.
- Печали? Ни в коем случае!
- Ну тогда пойдем. На некоторых это место нагоняет тоску, но мне здесь нравится.

Они прошли через ворота и пошли по дорожке, петлявшей среди долины могил: серых и старомодных – пятидесятих годов; причудливо изрезанных цветами и вазами – семидесятих; могилы девяностых были богато украшены навеки прикорнувшими на каменных подушках ужасными толстенькими херувимами из мрамора и огромными гирляндами безмянных гранитных цветов. Кое-где виднелись склоненные фигуры с букетами в руках, но большинство могил было окутано тишиной и укрыто опавшей листвой, издававшей аромат, пробуждающий у живых лишь призрачные воспоминания.

Они поднялись на вершину холма и остановились перед высоким округлым надгробием, усыпанным темными влажными пятнами и полускрытым опутавшими его вьющимися стеблями.

– Марджори Ли, – прочитала она вслух. – 1844–1873. Она была красавицей, наверное... Умерла в двадцать девять лет. Милая Марджори Ли! – нежно добавила она. – Можешь ее представить, Гарри?

- Да, Салли Кэрролл!

Он почувствовал, как узкая ладонь сжала его руку.

– Я думаю, у нее были светлые волосы, и она всегда вплетала в них ленту, и носила пышные небесно-голубые и лилово-розовые юбки с фижмами.

- Да!

– Ах, какая же она была милая, Гарри! Она была рождена для того, чтобы стоять на широком крыльце с колоннами и звать гостей в дом. Думаю, что много кавалеров ушло на войну, надеясь к ней вернуться; но, видно, вернуться так никому и не удалось.

Он наклонился поближе к камню, пытаясь найти хоть какую-нибудь запись о замужестве:

- Больше ничего не написано.

– Ну разумеется, ничего! Что может быть лучше, чем просто «Марджори Ли» и эти красноречивые даты?

Она придвинулась к нему поближе, и когда ее светлые волосы коснулись его щеки, у него к горлу неожиданно подкатил комок.

– Теперь ты и правда видишь ее, Гарри?

– Вижу, – тихо отозвался он. – Я вижу ее твоими чудесными глазами. Ты сейчас так красива, и я знаю, что и она была так же прекрасна!

Они молча стояли рядом, и он чувствовал, как ее плечи слегка подрагивают. Ленивый ветерок взлетел по склону холма и качнул широкие поля ее шляпы.

– Пойдем туда!

Она показала на ровный участок с другой стороны холма, где по зеленому дерну вдаль уходили бесконечные правильные ряды из тысячи серовато-белых крестов, словно сложенные в козлы винтовки батальонов.

– Это могилы конфедератов, – просто сказала Салли Кэрролл.

Они пошли вдоль рядов, читая надписи: почти везде были лишь имена и даты, кое-где уже почти неразличимые.

– Последний ряд самый печальный – вон там, смотри. На каждом кресте только дата и слово: «Неизвестный». – Она посмотрела на него, и в глазах у нее застыли слезы. – Я не смогу тебе объяснить, почему я так живо все это представляю, милый, попробуй понять так...

– Что ты о них думаешь – это прекрасно!

– Нет-нет, дело вовсе не во мне – дело в них; я просто стараюсь воскресить в себе старые времена. Это ведь были просто люди, и вовсе не важные, иначе там не написали бы «неизвестный». Они отдали свои жизни за самое прекрасное, что только есть в мире: за угасший Юг! Видишь ли, – продолжала она, и ее голос стал хриплым, а в глазах опять блеснули слезы, – людям свойственно овеществлять мечты, и с этой мечтой я родилась и выросла. Это было просто, потому что все это было мертвым и не могло грозить мне разочарованиями. Я пыталась жить по этим ушедшим стандартам – знаешь, как в поговорке: «положение обязывает». Здесь у нас ведь кое-что осталось, словно увядающие кусты роз в старом заросшем саду: учтивость и рыцарство у некоторых из наших парней, рассказы одного старого солдата из армии конфедератов, жившего по соседству, и старые негры, еще помнящие те времена... Ах, Гарри, какая же здесь была жизнь, что за жизнь! Я никогда не смогу тебе объяснить, но здесь было что-то особенное!

– Я понимаю, – вполголоса ответил он.

Салли Кэрролл улыбнулась и вытерла слезы краешком платка, торчавшего из кармана у него на груди:

– Ты не загрустил, любимый мой? Даже если я плачу, мне здесь очень хорошо; здесь я черпаю какую-то силу.

Взявшись за руки, они развернулись и медленно пошли обратно. Увидев мягкую траву, она потянула его за руку и усадила рядом с собой, у остатков низкой полуосыпавшейся стены.

– Скорее бы эти три старушки ушли, – сказал он. – Я хочу поцеловать тебя, Салли Кэрролл!

– Я тоже хочу.

Они в нетерпении ждали, пока удалятся три согбенные фигуры, а затем она целовала его, пока небо не растворилось в сумерках и экстаз бесконечных секунд не затмил все ее улыбки и слезы.

Потом они медленно шли обратно, а по углам сумерки разыгрывали усыпляющую партию в черно-белые шашки с остатками дня.

– Приезжай в середине января, – сказал он. – Погостишь у нас месяц или больше. Будет здорово! Будет зимний карнавал, и если ты никогда не видела настоящего снега, то тебе покажется, что ты попала в сказку. Будем кататься на коньках, на лыжах, на санках с горок, на больших санях, будут факельные шествия и парады на снегоступах. Такой праздник не устраивали уже много лет, так что будет потрясающе!

– А я не замерзну, Гарри? – неожиданно спросила она.

– Конечно нет! Разве что нос замерзнет, но до костей не проберет. Климат у нас суровый, но сухой.

– Я ведь дитя лета... Мне никогда не нравился холод.

Она умолкла; они оба некоторое время молчали.

– Салли Кэрролл, – медленно произнес он, – что ты скажешь: может быть, в марте?

– Скажу, что я люблю тебя!

– Значит, в марте?

– Да, в марте, Гарри.

III

Всю ночь в пульмановском вагоне было очень холодно. Она вызвала проводника, попросила еще одно одеяло, но одеял больше не было, и, вжавшись поглубже в мягкую вагонную койку и сложив вдвое свое единственное одеяло, она тщетно попыталась уснуть хоть на пару часов. С утра необходимо было выглядеть как можно лучше.

Проснувшись в шесть и натянув на себя отдававшую холодом одежду, она, спотыкаясь, пошла в вагон-ресторан выпить чашку кофе. Снег просочился в тамбуры и покрыл пол скользкой коркой льда. Этот холод завораживал – он проникал везде! Выдох превращался в осязаемое и видимое облако, и, глядя на него, она испытывала наивное удовольствие. Сев за столик в вагоне-ресторане, она стала смотреть в окно на белые холмы, долины и разбросанные по ним сосны, каждый сук которых представлял собой зеленое блюдо для изобильной порции холодного снега. Иногда мимо пролетали уединенные домики, безобразные, унылые и одинокие посреди белой пустыни; видя их, она всякий раз чувствовала укол пронзительного сострадания к душам, запертым внутри в ожидании весны.

Покинув вагон-ресторан, она, покачиваясь, пошла обратно в свой вагон – и почувствовала внезапный прилив энергии; наверное, это была та самая бодрость, о которой говорил Гарри, подумала она. Ведь она была на Севере – и этот Север теперь станет ее домом!

«Дуй, ветер, дуй – хей-хо! Мы едем далеко!» – с ликованием пропела она себе под нос.

– Что-что, простите? – вежливо переспросил проводник.

– Я попросила почистить пальто – будьте так любезны!

Количество длинных проводов на телеграфных столбах удвоилось; бежавшие рядом с поездом два пути превратились в три, затем в четыре; пронеслась мимо группа домов с белыми крышами, мелькнул троллейбус с замерзшими стеклами, показались улицы – еще улицы – а вот и город.

Выйдя на замерзшую платформу, от неожиданности она так и застыла; затем рядом с ней появились три закутанные в мех фигуры.

– А вот и она!

– Ах, Салли Кэрролл!

Салли Кэрролл уронила свою сумку прямо на перрон:

– Привет!

Ледяной поцелуй, едва знакомые глаза – и вот ее уже окружают лица, испускающие огромные клубы густого пара; она жмет руки. Ее встречали Гордон – энергичный мужчина лет тридцати, низкого роста, выглядевший, словно грубое подобие Гарри, – и его

жена, Майра, апатичная леди со светлыми волосами, выбивавшимися из-под меховой шапки. Салли Кэрролл тут же решила, что Майра, наверное, родом из Скандинавии. Веселый шофер принял ее сумку, и, среди рикошетов неоконченных фраз, восклицаний и вежливо-равнодушных «дорогая моя» Майры, все покинули платформу.

И вот они уже садятся в седан; и вот машина несется по извилистым заснеженным улицам, и дюжины мальчишек, чтобы прокатиться, цепляют свои санки к фургонам бакалейщиков и автомобилям...

– Ах! – воскликнула Салли Кэрролл. – Я тоже так хочу! Можно, Гарри?

– Но это же детская забава... Хотя мы можем, конечно...

– Мне кажется, это так весело, – с сожалением сказала она.

Просторный каркасный дом стоял в заснеженной лощине; ее встретил высокий, седовласый мужчина, к которому она сразу же прониклась симпатией, и дама, похожая на яйцо, расцеловавшая ее; это были родители Гарри. Затем последовал полный напряжения неопи-суемый час, заполненный обрывками фраз, горячей водой, яичницей с грудинкой и смущением; затем она оказалась наедине с Гарри в библиотеке и спросила, можно ли здесь курить.

Библиотека была просторной; над камином висела Мадонна, а по стенам шли ряды книг в поблескивающих тисненым золотом красных переплетах. На всех креслах в тех местах, где должна была покоиться голова сидящего, висели кружевные квадраты, диван был очень удобный, а книги выглядели так, словно их читали – не все, конечно, но некоторые; Салли Кэрролл тут же вспомнилась потрепанная домашняя библиотека, с огромными отцовскими медицинскими атласами, с тремя портретами двоюродных дедушек и старым диваном, который чинили вот уже сорок пять лет подряд, но на котором все еще было так приятно вздремнуть! Эта библиотека поразила ее тем, что не выглядела ни уютной, ни неуютной. Это была просто комната с множеством довольно дорогих вещей, которым было никак не больше пятнадцати лет.

– Ну, как тебе здесь нравится? – первым делом спросил Гарри. – Ты удивлена? То есть я хотел сказать: ты именно так себе все и представляла?

– Иди ко мне, Гарри! – тихо ответила она, протянув к нему руки.

После краткого поцелуя он не оставил попыток извлечь из нее восторг:

– Я имею в виду наш город. Понравился он тебе? Почувствовала, какая энергия в воздухе?

– Ах, Гарри, – рассмеялась она, – подожди, дай мне время. Не надо забрасывать меня вопросами.

Она с удовольствием затянулась сигаретой.

– Я должен кое о чем с тобой поговорить, – начал он, словно извиняясь. – Знаю, у вас на Юге принято уделять особое внимание семье и подобным вещам – не то чтобы это было не принято здесь, у нас, но ты увидишь, что здесь все немного по-другому. Я хочу сказать, Салли Кэрролл, что ты заметишь тут много такого, что поначалу покажется тебе грубым бахвальством! Помни лишь об одном: история нашего города началась всего три поколения назад. Все знают, кем были их отцы, половина из нас знает, кто их деды. Но дальше мы не углубляемся.

– Само собой, – пробормотала она.

– Видишь ли, этот город основали наши деды, и при основании многим из них довелось заниматься довольно сомнительными делами. Например, есть тут у нас одна дама, которая считается законодательницей мод в нашем обществе; ее отец был первым мусорщиком в городе – вот так...

– Подожди, – сказала озадаченная Салли Кэрролл, – ты что, решил, что я примусь кого-либо осуждать?

– Все нет, – перебил ее Гарри, – и, пожалуйста, не думай, что я пытаюсь кого-либо оправдать в твоих глазах. Просто... Прошлым летом приезжала сюда одна южанка; однажды в разговоре она не совсем удачно выразилась, так что... Я просто подумал, что лучше мне тебя сразу предупредить.

Салли Кэрролл вдруг почувствовала негодование, словно ее незаслуженно отшлепали.

Но Гарри, видимо, счел тему закрытой, поскольку продолжил разговор в другом, уже восторженном, ключе.

– У нас сейчас карнавальная неделя, я тебе рассказывал... Впервые за десять лет! И впервые с восьмидесяти пятого года решили построить ледяной дворец. Строят из блоков самого чистого льда, который только смогли найти, – дворец будет потрясающий!

Она встала, подошла к окну, раздвинула тяжелые турецкие портьеры и выглянула наружу.

– Ах! – вдруг воскликнула она. – Там двое мальчишек лепят снеговика! Гарри, как ты думаешь: можно мне к ним, помочь?

– Что за фантазии! Иди ко мне, поцелуй меня!

Она нехотя отошла от окна:

– Кажется, здешний климат не слишком располагает к поцелуям, правда? Тут ведь особо не посидишь, не помечаешь, да?

– Мы и не собираемся! Я взял отпуск на неделю с сегодняшнего дня; вечером будет торжественный ужин, а затем – танцы.

– Ах, Гарри, – призналась она, усевшись на диван и оказавшись наполовину у него на коленях, а наполовину зарывшись в подушки, – у меня просто голова кругом идет! Я даже не могу сказать, нравится мне здесь или нет, и я совершенно не представляю, чего здесь от меня ждут... и вообще как мне себя вести... Придется тебе все мне объяснять, милый.

– Объясню, – нежно сказал он, – но только если ты скажешь, что тебе здесь нравится!

– Нравится! Ужасно нравится! – прошептала она, скользнув в его объятия так, как это умела делать только она. – Мой дом там, где ты, Гарри!

Произнеся это, она впервые в жизни почувствовала себя актрисой, играющей роль.

В тот вечер, за столом среди мерцающих свечей, разговаривали, кажется, только мужчины, а женщины сидели, словно дорогие украшения, выглядя отчужденно и надменно; даже присутствие Гарри слева от нее не смогло создать у нее впечатления, что она – дома.

– Очень приятные люди, не правда ли? – спросил он. – Посмотри вокруг. Вон Спад Хаббард, он полузащитник, в прошлом году выступал за принстонскую команду; это Джуни Мортон – он и тот рыжий парень рядом с ним, оба были капитанами хоккейной команды в Йеле; мы с Джуни учились в одном классе. Все лучшие спортсмены в мире – из наших северных штатов. Это земля настоящих мужчин, говорю тебе! Посмотри, вон Джон Джей Фишберн!

– А кто он? – наивно спросила Салли Кэрролл.

– Разве ты не знаешь?

– Имя я где-то слышала...

– Он владеет всей пшеницей на северо-западе страны, один из величайших финансистов.

Она неожиданно обернулась, услышав голос справа.

– Нас, кажется, забыли друг другу представить! Меня зовут Роджер Паттон.

– А меня – Салли Кэрролл Хоппер, – вежливо ответила она.

– Да, я о вас слышал. Гарри мне рассказывал, что вы вот-вот приедете.

– А вы его родственник?

– Нет, я профессор.

– Ого! – рассмеялась она.

– В университете. Вы ведь с Юга, не так ли?

– Да. Из Тарлтона, штат Джорджия.

Он ей сразу понравился: темно-рыжие усы, бледно-голубые глаза, в которых читалось то, чего так не хватало остальным, – восхищение. За ужином они обменялись несколькими случайными замечаниями, и она подумала, что с ним она бы хотела поговорить еще.

После кофе ее представили множеству красивых молодых людей, танцевавших с предельно выверенной точностью движений и считавших само собой разумеющимся, что она желает говорить лишь о Гарри и ни о чем ином.

«Боже мой, – подумала она, – они разговаривают со мной так, словно помолвка сделала меня лет на десять старше! Будто я буду жаловаться на них их матерям!»

На Юге девушка после помолвки – и даже недавно вышедшая замуж – вправе была рассчитывать на такое же полушутливое подтрунивание и лесть, как и любая дебютантка, но здесь такое обращение, кажется, считалось недопустимым. Один молодой человек после удачного начала – он стал говорить о глазах Салли Кэрролл и продолжал в том духе, что они его пленили сразу же, как только он вошел в комнату, – немедленно сконфузился, когда открылось, что Салли Кэрролл гостит у Беллами и, стало быть, не кто иная, как невеста Гарри. Он сразу же стал вести себя так, словно допустил рискованную и непоправимую ошибку, немедленно напялил на себя личину церемонных манер и оставил Салли Кэрролл при первой же возможности.

Она очень обрадовалась, когда в танце ее перехватил Роджер Паттон и предложил немного посидеть, отдохнуть.

– Ну и как себя чувствует наша южная Кармен? – спросил он, весело подмигнув.

– Отлично. А как поживает... сорвиголова Мак-Грю? Прошу прощения, но из всех северян я знаю только его.

Кажется, ему это понравилось.

– Что вы, – ответил он, – кому-кому, а уж профессору литературы, конечно, точно доводилось читать «Выстрел Мак-Грю»...

– А вы здесь родились?

– Нет, я из Филадельфии. Меня импортировали из Гарварда учить студентов французскому. Но здесь я живу уже десять лет.

– На девять лет и триста шестьдесят четыре дня больше, чем я!

– Нравится вам здесь?

– Ну, как бы вам сказать... Конечно нравится!

– Правда?

– Ну а почему нет? Разве я выгляжу так, словно мне тут плохо?

– Я только что видел, как вы посмотрели за окно на улицу – и вздрогнули.

– Просто воображение разыгралось, – рассмеялась Салли Кэрролл. – Я привыкла, что на улице всегда тихо, а здесь вот посмотришь за окно, а там снегопад, и иногда мне кажется, что там движется что-то неживое.

Он понимающе кивнул головой:

– Вы бывали когда-нибудь раньше на Севере?

– Пару раз ездила на каникулы, в июле, в Северную Каролину, в Ашвил.

– Правда, здесь очень приятные люди? – спросил Паттон, показав на танцующие пары. Салли Кэрролл вздрогнула. Гарри то же самое говорил!

– Конечно! Правда, они все... псовые.

– Что?

Она покраснела:

– Ой, простите! Это прозвучало гораздо хуже, чем должно бы. Видите ли, для меня все люди делятся на псовых и кошачьих, вне зависимости от пола.

– И кто же вы?

– Я – из кошачьих. Вы вот тоже. Как и большинство южан и большая часть присутствующих здесь женщин.

– А Гарри?

– Гарри – совершенно точно из псовых. Кажется, все мужчины, с которыми я сегодня общалась, из псовых.

– А что вы подразумеваете под этими «псовыми»? Внешнюю видимую мужественность, в отличие от утонченности?

– Наверное, да. Я никогда не анализирую – я просто смотрю на человека и тут же говорю: этот из «псовых», а этот – из «кошачьих». Наверное, со стороны выглядит смешно?

– Вовсе нет! У меня когда-то была собственная теория насчет здешних людей. Я считаю, что они все замерзают.

– Что?

– Я думаю, что они все потихоньку превращаются в скандинавов: видите ли, они тут все «ибсенизируются». Понемногу и едва заметно они становятся все более унылыми и меланхоличными. Из-за долгих зим. Читали Ибсена?

Она отрицательно покачала головой.

– У его героев есть общая характерная черта – особая задумчивая суровость. Они все праведные, ограниченные и безрадостные, у них отсутствует способность переживать огромную радость или печаль.

– Не улыбаются и не плачут?

– Совершенно верно! Вот в чем заключается моя теория. Видите ли, здесь живут тысячи шведов. Мне кажется, сюда они едут потому, что здешний климат очень похож на скандинавский. Постепенно происходит смешение рас. Прямо здесь, перед нами, их едва ли наберется с полдюжины, но целых четыре губернатора нашего штата были родом из Швеции... Я вам еще не надоел?

– Нет-нет, мне очень интересно!

– Ваша будущая невестка – наполовину шведка. Мне лично она симпатична, однако по моей теории шведы вообще отрицательно влияют на американцев как на нацию. Среди скандинавов, знаете ли, самый высокий процент самоубийств в мире.

– Но тогда почему вы живете здесь, раз тут так тоскливо?

– О, на меня это не действует. Я обладаю довольно замкнутым характером, да и вообще, книги для меня значат гораздо больше, чем люди.

– Но ведь в книгах Юг обычно описывается трагически, не правда ли? Все эти испанские сеньориты, черные волосы, кинжалы, кружащая голову музыка...

Он покачал головой.

– Нет. Трагические народы – все сплошь с Севера! Они не могут себе позволить ободряющей роскоши выплакаться всласть.

Салли Кэрролл вспомнила о своем кладбище и подумала, что, видимо, примерно об этом всегда и говорила, утверждая, что ей там отнюдь не тоскливо.

– Самые веселые в мире люди – это, наверное, итальянцы... Ну ладно, это скучная тема, – оборвал он разговор. – Хочу добавить лишь одно: вы выходите замуж за прекрасного человека!

Салли Кэрролл внезапно исполнилась к нему доверием.

– Я знаю. Я ведь из тех, кто хочет, чтобы в какой-то момент их окружили заботой, и я уверена, что так и будет.

– Пойдемте танцевать? Знаете, – продолжил он, когда они встали, – мне очень приятно встретить девушку, которая знает, зачем она выходит замуж. Девять из десяти невест, выходя замуж, считают, что это просто шаг в закат, как в кино.

Она рассмеялась; он ей очень понравился.

Через два часа по пути домой она уютно устроилась рядом с Гарри на заднем сиденье автомобиля.

– Ах, Гарри! – прошептала она. – Мне так холодно!

– Но ведь здесь тепло, милая моя девочка!

– Но снаружи холодно. И еще ветер воет!

Она зарылась лицом в меховой воротник его пальто и непроизвольно вздрогнула, когда холодные губы коснулись кончика ее уха.

IV

Первая неделя ее визита прошла в суматохе. В студеных январских сумерках ей организовали обещанную поездку на санях за автомобилем. Закутавшись в шубу, она приняла участие в утреннем катании на санях с горки около загородного клуба; она даже попробовала встать на лыжи, чтобы ощутить на одно чудесное мгновение полет в воздухе, а затем приземлиться прямо в мягкий сугроб, смеясь и запутавшись в шубе. Ей понравились все зимние развлечения, за исключением хождения в снегоступах: весь день они просто шли и шли под светом неяркого желтого солнца по ослепительно сверкавшей равнине. Но она очень быстро поняла, что все это считалось здесь детскими забавами, а окружающие ей просто подыгрывали, и их веселье было лишь отражением ее собственного.

Семья Беллами поначалу ее озадачила. Мужчины были солидными, и это ей нравилось. Особенно понравился мистер Беллами, с его седой шевелюрой и сильным, исполненным достоинства характером. Когда она узнала, что он родом из Кентукки, он сразу же стал представляться ей связующим звеном между старой и новой жизнью. Однако по отношению к женщинам из этой семьи она ощущала лишь враждебность. Майра, ее будущая невестка, казалась ей олицетворением бездушной формальности. Ее манера разговаривать никак не выявляла ее личность, поэтому Салли Кэрролл, на родине которой любая женщина должна была обладать определенной степенью шарма и уверенности в себе, чуть ли не презирала ее.

«Если эти женщины не обладают красотой, – думала она, – тогда они вообще пустое место! Они же почти растворяются в пейзаже, едва на них помотришь повнимательнее. Из них вышли бы великолепные слуги. В любой группе, где есть мужчины и женщины, центром являются мужчины».

А к миссис Беллами Салли Кэрролл прямо-таки исполнилась отвращением. Возникший при первой встрече образ яйца впоследствии лишь утвердился, – она представлялась ей яйцом с надтреснутым, «тухлым» голоском и столь неприятной и наводящей уныние манерой держаться, что Салли Кэрролл думала: вот не приведи господь она упадет – и тут же получится омлет! Кроме того, миссис Беллами, казалось, олицетворяла присущую этому городу враждебность по отношению к чужакам. Салли Кэрролл она звала «Салли», и никто не мог убедить ее в том, что вторая часть имени была отнюдь не глупой и смешной кличкой. А для Салли Кэрролл такое сокращение было равносильно выставлению ее на публике в полуголом виде. Ей нравилось «Салли Кэрролл»; «Салли» она терпеть не могла. Ей также было известно, что мать Гарри не одобряла ее короткую стрижку, и Салли Кэрролл больше не осмеливалась курить внизу после того, как в первый же день в библиотеку, усиленно приносясь, прискакала миссис Беллами.

Из всех мужчин, которым она была представлена, больше всего ей понравился Роджер Паттон, который был частым гостем в этом доме. Он больше не рассуждал о склонности местного населения к «ибсенизации», а однажды, застав Салли Кэрролл свернувшейся калачиком на софе в обнимку с «Пер-Гюнтом», рассмеялся и сказал ей, чтобы она забыла все, что он тогда ей наговорил, – это ведь была просто болтовня.

В один из вечеров на второй неделе Салли Кэрролл с Гарри оказались на грани опасной и непоправимой ссоры. Она считала, что причина была полностью его рук делом, хотя отправной «сараевской» точкой стал неизвестный гражданин, забывший погладить брюки. Салли Кэрролл и Гарри шли домой между высокими снежными сугробами; светило солнце, которое Салли Кэрролл здесь едва узнавала. По дороге они увидели маленькую девочку, укутанную с головы до пят в серую дубленку, – она была похожа на маленького медвежонка, и Салли Кэрролл не могла не обратить на нее внимания и не поделиться с Гарри обычными женскими ахами и охами:

– Ах, Гарри! Ты только посмотри!

– Что такое?

– Та маленькая девочка! Ты видел ее лицо?

– Да. И что?

– Она румяная, словно клубничка! Ах, какая милашка!

– Ну что ж, и у тебя сейчас почти такой же румянец! Здесь у нас все так и пышут здоровьем. Мы ведь сталкиваемся с холодом практически сразу, как только начинаем ходить. Удивительный климат!

Она посмотрела на него – с ним можно было только согласиться. Он выглядел сильным и здоровым; так же выглядел и его брат. А сегодня утром и у себя на щеках она впервые заметила самый настоящий румянец.

Затем их взгляды упали на перекресток впереди по улице – и они не смогли отвести глаз от открывшейся картины. Там стоял мужчина; колени его были подогнуты, глаза устремлены ввысь с таким напряжением, словно он собирался вот-вот совершить прыжок в промозглые небеса... Подойдя поближе, они заметили, что эта абсурдная кратковременная иллюзия создавалась из-за висевших мешком на гражданине брюк, и оба тут же разразились смехом.

– Счет один-ноль в его пользу! – рассмеялась она.

– Судя по брюкам, это, должно быть, южанин, – озорно рассмеялся Гарри.

– Гарри, что ты говоришь!

Ее удивленный взгляд отчего-то его разозлил.

– Ох уж эти чертовы южане!

Глаза Салли Кэрролл ярко блеснули.

– Не смей их так называть!

– Прости, дорогая, – ядовито извинился Гарри, – но ты ведь знаешь, что я о них думаю! Они ведь... просто дегенераты, не то что южане прежних времен. Они так долго прожили на Юге вместе с цветными, что и сами давно превратились в лентяев и бездельников.

– Перестань, Гарри! – сердито крикнула она. – Они вовсе не такие! Может, они и ленивые – в таком климате кто хочешь станет лентяем, – но это ведь мои лучшие друзья, и я не позволю их огульно критиковать! Среди них есть прекрасные люди!

– Ах ну да, я знаю! Все они нормальные ребята, когда приезжают учиться в университет на Север; но из всех виденных мною людишек низкого пошиба, не умеющих как следует одеваться, неопрятных, самые ужасные – это южане из маленьких городков!

Салли Кэрролл сжала руки в перчатках в кулаки и в ярости кусала губы.

– Да что там, – продолжал Гарри, – в моей группе в Нью-Хейвене был один южанин; мы все подумали, что наконец-то увидим настоящего южного аристократа, однако он оказался отнюдь не аристократом, а просто сыном северного «саквояжника», который скупил весь хлопок вблизи Мобила.

– Южанин никогда не стал бы разговаривать в таком тоне! – спокойно ответила она.

– Конечно! Силенок не хватит!

– Или чего-нибудь еще?

– Мне очень жаль, Салли Кэрролл, но я ведь своими ушами слышал, как ты говорила, что никогда не выйдешь...

– При чем здесь это?! Я говорила, что не хотела бы связать свою жизнь с любым из тех парней, которые сейчас живут в Тарлтоне, но я никогда не делала каких-либо обобщений и не пыталась смести всех в кучу без разбору.

Они продолжили свой путь в молчании.

– Я, кажется, перегнул палку, Салли Кэрролл. Прости меня.

Она кивнула, но ничего не сказала. Через пять минут, когда они стояли в прихожей, она вдруг обняла его.

– Ах, Гарри, – воскликнула она, и в глазах ее блеснули слезы, – давай поженимся на будущей неделе! Я очень боюсь таких ссор по пустякам. Я боюсь, Гарри. Все было бы не так, если бы мы были женаты.

Но Гарри, чувствуя себя виноватым, все еще злился:

– Это будет выглядеть по-идиотски. Мы же решили – в марте!

Слезы в глазах Салли Кэрролл высохли; она резко на него взглянула.

– Очень хорошо. Прости, я сказала это, не подумав.

Гарри вдруг растаял.

– Милая моя упрямица! – воскликнул он. – Поцелуй меня, и давай обо всем забудем.

В тот вечер по окончании спектакля в мюзик-холле оркестр заиграл «Дикси», и Салли Кэрролл почувствовала, как внутри нее рождаются новая сила и твердость, сменившие дневные слезы и улыбки. Она вытянулась вперед, сжимая подлокотники театрального кресла так сильно, что даже покраснела.

– Тебе так понравилось, дорогая? – прошептал Гарри.

Но она его не слышала. В горячем трепете скрипок и под воодушевляющий ритм литавр маршировали, устремляясь во тьму, ее собственные духи, и, когда в негромком припева свистнули и вздохнули флейты, они почти исчезли из виду, так что она могла бы помахать им на прощание рукой.

*Далеко, далеко,
Далеко на юге, в Дикси!
Далеко, далеко,
Далеко на юге, в Дикси!*

V

Вечер выдался на редкость холодным. Вчерашняя нежданная оттепель практически очистила улицы, но сегодняшняя рыхлая поземка вновь занесла мостовые, укладывая рассыпчатый снег волнами под поступью ветра и наполняя воздух состоявшим из мелких частиц снежным туманом. Неба не было видно: вверху был лишь темный, зловещий покров, укутывавший верхушки домов и представлявший собой наступавшую на землю необозримую армию снежинок; а над всем этим, унося уют, создаваемый зелено-коричневым светом горящих окон, глуша уверенную поступь коней, тянувших сани, носился неутомимый северный ветер. Унылый это все-таки город, подумала она, унылый, что бы там ни говорили!

Иногда по ночам ей казалось, что здесь не осталось ничего живого, – все давным-давно отсюда ушли, оставив дома, в которых горел свет, лишь затем, чтобы снежные сугробы, словно могильные холмы, упокоили их под собой. Ах, неужели и ее могила будет покрыта снегом? Лежать под огромной снежной кучей всю зиму напролет, и даже могильный камень

будет казаться лишь слабой тенью среди других теней! Ее могила... Нет! Могила должна быть усыпана цветами, над ней должно светить солнце, на нее должен падать дождь!

Она опять вспомнила об уединенных сельских домах, которые видела из окна поезда, и о том, какая там, должно быть, жизнь долгой зимой: ослепительный блеск в окне, корка льда на мягких сугробах и ближе к весне – медленное, безрадостное таяние, а затем суровая весна, о которой ей рассказывал Роджер Паттон. А ее весна, которую она потеряет навсегда, – с сиренью и ленивой сладостью, рождающейся в сердце... Она похоронит эту весну, а затем навсегда похоронит и эту сладость.

Постепенно разразилась пурга. Салли Кэрролл чувствовала, как снежинки быстро тают, падая ей на ресницы; Гарри вытянул свою укутанную в мех руку и натянул ей на лоб козырек фланелевой шляпки. Затем мелкие снежинки устроили у нее перед глазами перестрелку, а конь терпеливо склонил шею, и на его попоне на мгновение блеснул прозрачно-белый слой льда.

– Ах, Гарри, ему же холодно! – быстро сказала она.

– Кому? Коню? Да нет, что ты! Ему это нравится!

Через десять минут они свернули и увидели свою цель. На высоком холме, на фоне зимнего неба, ослепительно сиял ярко-зеленый контур ледяного дворца. Он вздымался ввысь на три этажа, стены были зубчатыми, с бойницами и узкими ледяными окнами, а бесчисленные электрические лампы внутри рождали удивительное ощущение прозрачности огромного главного зала. Под меховой полкой Салли Кэрролл схватила Гарри за руку.

– Он прекрасен! – возбужденно крикнул он. – Черт возьми, он просто прекрасен! Такого не строили с восемьдесят пятого года!

Почему-то упоминание о том, что такого тут не видели с восемьдесят пятого года, подействовало на Салли Кэрролл угнетающе. Лед был призрачной субстанцией, и поэтому огромный дом изо льда должен был быть наверняка населен духами восьмидесятых годов, с бледными лицами и припорошенными снегом шевелюрами.

– Пойдем, дорогая! – сказал Гарри.

Она вышла за ним из саней и подождала, пока он не привяжет лошадь. Еще четверо – Гордон, Майра, Роджер Паттон и еще одна девушка – с громким звоном колокольчиков подъехали вслед за ними. Народу было уже очень много, все были закутаны в меха или в дубленки, все кричали и окликали знакомых, – сверху сыпал снег, и снегопад был таким сильным, что можно было лишь с трудом различить тех, кто находился в нескольких ярдах.

– Высота сто семьдесят футов, – говорил Гарри закутанной фигуре, пробиравшейся с ним рядом ко входу, – а площадь шесть тысяч квадратных ярдов!

До Салли Кэрролл доносились обрывки разговоров: «Один главный зал...», «...толщина стен от двадцати до сорока дюймов...», «...а в снежной пещере почти на милю...», «...проект придумал один канадец...».

Они вошли внутрь, и Салли Кэрролл, ослепленная магией огромных хрустальных стен, невольно стала снова и снова повторять про себя строчки из «Кубла-хана»:

*Какое странное виденье —
Дворец любви и наслажденья
Меж вечных льдов и влажных сфер.*

В огромной сверкающей пещере, куда не проникала тьма, Салли Кэрролл присела на деревянную скамью; вновь появилось вечернее чувство подавленности. Гарри был прав: дворец был прекрасен; ее взгляд скользнул по гладким стенам, для которых были выбраны блоки самого чистого и прозрачного льда, чтобы получить эту опаловую полупрозрачность.

– Смотри! Начинается! Боже мой! – воскликнул Гарри.

Оркестр в дальнем углу грянул «Привет, привет! Ребята все собрались!», и звуки стали отражаться отовсюду сразу из-за странной и причудливой акустики. Затем неожиданно погас свет; тишина, казалось, опускалась вниз по ледяным стенам и накрывала людей, словно поток. В темноте Салли Кэрролл все еще могла различить белые клубы пара, выходявшие у нее изо рта, и тусклый ряд бледных лиц на противоположной стороне зала.

Музыка стихла, превратившись в жалобный вздох, а снаружи донесся громкий звучный напев маршировавших клубов. Пение становилось все громче, словно победная песнь племени викингов, возвращавшихся из диких краев древности; звук нарастал – они приближались. Появился первый ряд факелов, затем еще и еще; двигаясь в ногу, обутые в мокасины и закутанные в шерсть фигуры заполнили зал; с их плеч свисали снегоступы, над головами возвышались и мерцали факелы, а голоса карабкались вверх по высоким стенам.

Серая колонна кончилась, за ней пошла другая. На этот раз багровый свет струился по ярко-алым суконным курткам и красным вязаным шапкам с ушами. Войдя, они подхватили припев. Затем появились большие отряды в бело-голубом, в зеленом, в белом, в желто-коричневом.

– Те, что в белом, – это клуб «Уэйкута», – взволнованно прошептал Гарри. – Это те, с кем я тебя знакомил на танцах!

Голоса становились все громче; огромная пещера превратилась в фантасмагорию из факелов, качавшихся огромными огненными рядами, цветных пятен и ритма шагов людей, обутых в мягкую кожу. Первая колонна развернулась и остановилась, отряды выстроились один за другим, пока факелы всех участников процессии не превратились в единый огненный флаг, а затем тысячи голосов издали могучий крик, раздавшийся, словно раскат грома, и поколебавший пламя факелов. Это было великолепно, это было потрясающе! Для Салли Кэрролл это выглядело так, словно Север принес жертву на огромный алтарь серого языческого Снежного Бога. Когда отголоски крика затихли, вновь заиграл оркестр, затем опять послышалось пение, а потом – долгие раскатистые приветствия каждого клуба. Она сидела очень тихо, прислушиваясь, как отрывистые крики разрывают тишину; затем она вздрогнула, потому что послышался грохот взрывов, и везде в пещере стали подниматься огромные клубы дыма, – к работе приступили фотографы со своими вспышками – собрание кончилось. С оркестром впереди, клубы вновь выстроились в колонны, затаили песню и стали маршем уходить на улицу.

– Пойдем! – крикнул Гарри. – Нужно посмотреть лабиринты в подвале, пока не выключили свет!

Все встали и пошли к спуску: Гарри и Салли Кэрролл впереди; ее маленькая варежка утопала в его большой меховой рукавице. У подножия спуска находился длинный пустой снежный зал с таким низким потолком, что пришлось пригнуться – их руки разъединились. Прежде чем она успела сообразить, что произошло, Гарри бросился в один из полудюжины сверкающих коридоров, которые шли из зала, и превратился в стремительно удаляющееся темное пятно на фоне зеленого мерцания.

– Гарри! – позвала она.

– Иди сюда! – крикнул он ей.

Она окинула взглядом пустой снежный зал; все остальные, видимо, решили идти домой и были уже где-то снаружи, в обманчивом снегу. Она, поколебавшись, бросилась вслед за Гарри.

– Гарри! – крикнула она.

Через тридцать футов она добежала до развилки; услышала слабый приглушенный ответ вдали, слева, и, слегка испугавшись, бросилась туда. Еще одна развилка, еще два зияющих коридора.

– Гарри!

Молчание. Она бросилась бежать прямо, затем молниеносно развернулась и помчалась туда, откуда пришла, неожиданно охваченная ледяным страхом.

Она добежала до развилки – здесь? – выбрала левый коридор и выбежала туда, где должен был быть выход в длинную пещеру с низким потолком, – но перед ней был лишь очередной сверкающий коридор, оканчивавшийся тьмой. Она крикнула, но в ответ услышала лишь глухое безжизненное эхо от стен и никаких откликов. Вернувшись по своим следам, она свернула в другой коридор, на этот раз широкий – словно зеленая тропа между разверзнувшимися водами Красного моря, словно влажный подземный ход между двумя пустыми гробницами.

Она стала немного поскользываться, потому что на подошвы галош налип слой снега; чтобы сохранить равновесие, пришлось хвататься за местами скользкие, местами липкие стены.

– Гарри!

Опять молчание. Эхо насмешливо унесло ее крик в самый конец коридора.

И в ту же секунду свет погас, и она оказалась в полной темноте. Она издала негромкий испуганный крик и повалилась замерзшим сугробиком прямо на лед. Падая, она почувствовала, что с ее левой коленкой что-то не так, но не стала обращать на это внимания – ее охватил глубокий ужас, и он был сильнее, чем страх потеряться. Она осталась одна, лицом к лицу с духом Севера, с тем безотрадным одиночеством, рожденным затертыми во льдах китобоями арктических морей, с бесконечными нетронутыми белыми пустынями без единого дымка, где разбросаны выбеленные кости искателей приключений. Она чувствовала ледяное дыхание смерти; оно скатывалось вниз, к земле, и собиралось ее схватить.

С неистовой и отчаянной энергией она вновь встала на ноги и на ощупь пошла дальше во тьме. Она должна отсюда выбраться! Она может проблуждать здесь несколько дней, затем окоченеет до смерти и вмерзнет в лед, и ее труп – она об этом читала – сохранится в первозданном виде до тех пор, пока не растает ледник. Гарри, наверное, решил, что она ушла вместе с остальными – так что он тоже ушел; никто ничего не узнает до следующего дня, а тогда уже может быть поздно. Она с грустью дотронулась до стены. Говорили, что толщина ее сорок дюймов – целых сорок дюймов!

– Ах!

Она почувствовала, как с обеих сторон по стенам к ней крадутся какие-то существа – затхлые души, населявшие этот дворец, этот город, этот Север.

– Ах да где же хоть кто-нибудь – ну хоть кто-нибудь! – громко воскликнула она.

Кларк Дэрроу – он бы понял, и Джо Эвинг тоже; нельзя оставлять ее здесь блуждать вечно – чтобы покрылись льдом ее сердце, тело и душа! Это же она – она, Салли Кэрролл! Всем она приносила только радость. Она была веселой девочкой. Она любила тепло, лето и «Дикси». Но здесь все было чужим – чужим...

– Не нужно плакать, – донесся чей-то голос. – Ты больше никогда не будешь плакать. Твои слезы превратятся в лед; здесь все слезы превращаются в лед!

Во весь рост она растянулась на льду.

– Ах, боже мой! – она споткнулась.

Миновала длинная неразличимая шеренга минут, и она почувствовала, как от сильной усталости ее глаза закрываются. Затем ей показалось, что кто-то присел рядом и погладил ее по лицу теплой и мягкой рукой. Она с благодарностью посмотрела вверх.

– Ах, это же Марджори Ли! – певуче, вполголоса пробормотала она. – Я знала, что ты придешь. – Это действительно была Марджори Ли, и выглядела она именно так, как ее и представляла Салли Кэрролл: юное открытое лицо, светлые волосы, большие приветливые глаза, юбка с фижмами, очень мягкая, на которой было так приятно лежать.

– Марджори Ли!

Становилось все темнее и темнее – все эти надгробия надо бы, конечно, подкрасить, хотя от этого они, разумеется, лишь испортятся. Но все же надо сделать так, чтобы можно было прочесть, что на них написано.

Затем, после череды мгновений, бежавших то быстро, то медленно, но превращавшихся в результате во множество расплывчатых лучей, сходящихся к бледно-желтому солнцу, она услышала громкий треск, нарушивший ее вновь обретенную тишину.

Появилось солнце, появился свет; факел, и еще факел, и еще – и голоса; под факелом возникло живое человеческое лицо, тяжелые руки подняли ее, и она почувствовала что-то у себя на щеке – что-то мокрое. Кто-то схватил ее и тер ее лицо снегом. Как смешно – снегом!

– Салли Кэрролл! Салли Кэрролл!

Это был Сорвиголова Дэн Мак-Грю и еще двое, которых она не узнала.

– Детка, детка! Мы тебя два часа искали! Гарри чуть с ума не сошел!

Все тут же стало вставать на свои места: пение, факелы, громкие крики марширующих клубов. Она изогнулась на руках у Паттона и издала протяжный негромкий крик.

– Я не хочу здесь оставаться! Я еду домой! Увезите меня домой! – Ее голос превратился в вопль, от которого у мчавшегося к ней по коридору Гарри дрогнуло сердце. – Завтра! – кричала она в исступлении, нисколько не сдерживаясь. – Завтра! Завтра! Завтра же!

VI

Золотой избыточный солнечный свет изливал расслабляющее, но при этом столь отрадное тепло на дом, дни напролет глядевший на пыльный участок дороги. Парочка птиц устроила шумную суматоху в прохладе среди ветвей деревьев на соседнем участке, а вдалеке на улице цветная женщина мелодичным голосом предлагала купить у нее немного клубники. Стоял апрельский день.

Салли Кэрролл Хоппер, уткнувшись подбородком в руку, а руку положив на старый подоконник, сонно смотрела на поблескивающую пыль, из которой впервые этой весной поднимались волны теплого воздуха. Она наблюдала, как старенький «форд» миновал опасный поворот и с грохотом и стонами резко остановился на углу. Она не издала ни звука, и спустя минуту воздух разорвал знакомый скрипучий гудок. Салли Кэрролл улыбнулась и моргнула.

– Доброе утро!

Из-под крыши автомобиля показалась голова на изогнутой шее.

– Уже не утро!

– Неужели? – в притворном удивлении отозвалась она. – Да, наверное, не утро.

– Что делаешь?

– Рисковую жизнью: ем зеленый персик!

Кларк вывернул шею до последней возможной степени, чтобы увидеть ее лицо.

– Вода как парное молоко, Салли Кэрролл! Поехали купаться?

– Да я рукой пошевелить не могу, – лениво вздохнула Салли Кэрролл. – Но, пожалуй, поехали.

Голова и плечи

В 1915 году Горацию Тарбоксу исполнилось тринадцать лет. В этом же году он сдал вступительные экзамены в Принстонский университет, все на «отлично»: сдал Цезаря, Цицерона и Вергилия, Ксенофона и Гомера, алгебру, геометрию, стереометрию и химию.

А спустя два года, в то время как Джордж М. Коуэн сочинял «Там, на континенте», Гораций лидировал в выпускном классе сразу по нескольким дисциплинам и с головой ушел в работу над темой «Силлогизм как малоупотребительная форма научного выражения»; ко времени битвы у Шато-Тьерри он сидел за своим письменным столом и думал, начинать ли сейчас – или подождать, пока ему не исполнится семнадцать? – работу над серией эссе под общим названием «Прагматические предубеждения новых реалистов».

Через некоторое время он узнал из газет, что война окончилась, и обрадовался, так как это означало, что «Братья Пит» наконец-то смогут выпустить в свет новое издание «Концепции восприятия» Спинозы. Все войны были в своем роде хороши, приучая юношей к самостоятельности и так далее, однако Гораций чувствовал, что никогда не простит президенту духовой оркестр, игравший в честь перемирия под его окнами всю ночь напролет, что стало причиной отсутствия трех весьма важных положений в его курсовой работе «Немецкий идеализм».

В следующем году он оказался в Йеле, чтобы получить степень магистра.

Ему исполнилось семнадцать, он был близорук, высок и строен. Когда изредка с его уст падало слово, он выглядел так, будто не имел ничего общего с говорящим.

– Я никогда не могу понять, слышит ли он меня, – жаловался профессор Диллингер сочувствующему коллеге. – У меня все время возникает ощущение, что я разговариваю с его поверенным. Я все время жду, что он сейчас скажет: «Минуту, я только спрошу у себя и передам вам свое мнение».

А затем, так же безразлично, как будто Гораций Тарбокс был мясником мистером Плоттом или галантерейщиком мистером Шаппом, жизнь неожиданно накинута на него, схватила, помяла в руках, расправила и выложила, как кусочек ирландского кружева, на прилавок с остатками по сниженным ценам.

Отдавая дань литературной моде, я должен сказать, что все это случилось потому, что давным-давно, во времена первых колонизаторов, отважные пионеры пришли в пустынный район Коннектикута и сказали: «Итак, что мы построим здесь?» – и самый смелый из них ответил: «Давайте построим город, в котором театральные продюсеры смогут обкатывать новые мюзиклы!» Историю о том, как потом для этого был основан Йельский университет, знает каждый. Во всяком случае, в декабре в зале Шуберта прошла премьера постановки «Домой, Джеймс!», и все студенты бешено аплодировали Марсии Мидоу, которая пела песенку о «Неуклюжем увальне» в первом акте и танцевала свой знаменитый дрожащий и трепетный танец в последнем.

Марсии было девятнадцать. У нее не было крыльев, но публика дружно соглашалась, что ангелам они и не нужны. Она была натуральной блондинкой и никогда не красилась, выходя на улицу до обеда. Но если не принимать всего этого во внимание, она была ничем не лучше всех остальных женщин.

Как-то раз Чарли Мун пообещал ей пять тысяч пачек «Пэлл-Мелл», если она решится нанести визит Горацию Тарбоксу, вундеркинду. Чарли учился на последнем курсе в Шеффилде и приходился Горацию кузенком. Они оба любили и жалели друг друга.

В тот вечер Гораций был особенно занят. Неспособность француза Лурье оценить значение новых реалистов угнетала его мозг. Его единственной реакцией на негромкий, но отчетливый стук во время этих изысканий стала мысль о том, будет ли в реальности суще-

ствовать какой-либо стук без ушей, его слышащих. Он находил, что все более и более склоняется к прагматизму. Но, хотя он об этом и не подозревал, как раз в этот момент он с изумительной быстротой склонялся к чему-то совершенно иному.

Стук продолжался – прошло три секунды – стук возобновился.

– Войдите, – пробормотал погруженный в себя Гораций.

Сидя в большом кресле у камина, он услышал, как дверь открылась и закрылась, но даже не оторвался от книги, чтобы взглянуть, кто пришел.

– Положите на кровать в другой комнате, – рассеянно произнес он.

– Что положить на кровать в другой комнате?

На сцене Марсии Мидоу приходилось петь достаточно громко, но ее обычный голос напоминал полутона арфы.

– Стирку.

– Я не могу.

Гораций раздраженно пошевелился в кресле.

– Почему не можете?

– Потому что у меня ничего нет.

– Хм, – раздраженно ответил Гораций, – ну тогда вернитесь и возьмите.

У камина – по другую сторону – стояло еще одно кресло. Гораций для поддержания физической формы и смены обстановки всегда перебирался в него во второй половине вечера. Одно кресло он звал Беркли, второе – Хьюм. Неожиданно ему послышалось, будто некая призрачная и шелестящая фигура погрузилась в Хьюма. Он оторвался от книги.

– Ну, – сказала Марсия с милой улыбкой, которую она демонстрировала во втором акте (после слов: «О, так Герцогу наш танец был по нраву!»), – что ж, Омар Хайям, вот я и рядом с вами, поющая в пустыне.

Гораций недоуменно уставился на нее. В его голову закралось подозрение, что этот фантом появился здесь только по капризу его воображения. Женщины так запросто не приходят домой к мужчинам, и уж тем более не устраиваются посидеть в Хьюмах. Женщины приносят стирку, занимают ваше место в трамваях и выходят за вас замуж впоследствии, когда вы постареете настолько, что уже не заметите уз.

Эта женщина, несомненно, материализовалась прямо из Хьюма. Пена ее коричневого легкого платья казалась порождением кожного подлокотника Хьюма! Если смотреть достаточно долго, то прямо сквозь нее он сможет увидеть Хьюма и снова окажется в комнате один. Он потер кулаком глаза. Ему действительно нужно опять заняться гимнастикой.

– Ради всего святого, не смотрите на меня так скептически, – приятным голосом возразило видение. – Я чувствую, что в вашем патентованном котелке варится мысль о том, что меня здесь нет. И скоро от меня совсем ничего не останется, за исключением слабого отблеска в ваших глазах.

Гораций кашлянул. Кашель был одним из двух возможных его проявлений. Когда он говорил, вы забывали, что у него вообще-то есть еще и тело. Это было похоже на звук старой пластинки с записью голоса давно умершего певца.

– Что вам угодно? – спросил он.

– Мне нужны письма, – патетически возвестила Марсия, – те мои письма, которые вы купили у моего деда в 1881 году.

Гораций задумался.

– У меня нет ваших писем, – спокойно ответил он. – Мне всего лишь семнадцать лет. Мой отец родился 3 марта 1879-го. Очевидно, вы меня с кем-то путаете.

– Вам всего лишь семнадцать? – с подозрением в голосе переспросила Марсия.

– Всего лишь семнадцать.

– Я знала девушку, – сказала Марсия, как бы погрузившись в воспоминания, – которая постоянно брала билеты в мюзик-холл на самые дешевые места, когда ей было шестнадцать. Она так себя любила, что никогда не могла произнести «шестнадцать», не добавив «всего лишь». Мы стали звать ее «Всего лишь Джесси». И она до сих пор осталась с тем, с чем начала, – только подурнела. «Всего лишь» – плохая привычка, Омар, это звучит как оправдание.

– Мое имя не Омар.

– Я знаю, – кивнув, согласилась Марсия, – вас зовут Гораций. Я зову вас Омаром просто потому, что вы напоминаете мне лобстера.

– И у меня нет ваших писем. Сомневаюсь, что я когда-либо видел вашего деда. Если честно, я считаю маловероятным, что вы сами жили на свете в 1881 году.

Марсия в изумлении уставилась на него.

– Я... в 1881-м? Ну как же, я же была фигурой полусвета, когда весь секстет из «Флородоры» еще учился в монастырской школе! Это ведь я исполняла у Сола Смита роль няньки Джульетты, которую играла миссис Сол Смит! Я же была певичкой-маркитанткой во время войны 1812 года!

Мысль Горация совершила скачок в верном направлении, и он заулыбался.

– Это вас Чарли Мун надоумил?

Марсия вопросительно посмотрела на него.

– Кто такой Чарли Мун?

– Небольшого роста, с широкими ноздрями и большими ушами.

Она как будто выросла на несколько дюймов и фыркнула.

– У меня нет привычки разглядывать ноздри моих друзей.

– Значит, это был Чарли.

Марсия закусила губу – а затем зевнула.

– Давайте сменим тему, Омар. Я минутку всхрапну в этом кресле.

– Да пожалуйста, – серьезно ответил Гораций, – Хьюм часто действует как снотворное.

– Кто это? Ваш друг? Он уже умер?

Неожиданно Гораций Тарбокс встал и, сунув руки в карманы, принялся мерить шагами комнату. Это и было его второе проявление.

– При чем здесь я, – говорил он, как будто разговаривая сам с собой, – мне совершенно все равно. Не то чтобы мне не нравилось, что вы здесь, – нет, нет... Вы довольно симпатичное создание, но мне не нравится, что вас сюда подослал Чарли Мун. Я что, кролик, на котором лаборанты и прочие химики могут ставить эксперименты? Мое интеллектуальное развитие выглядит смешно? Я что, выгляжу, как дурачок из Бостона, герой комиксов? Имел ли этот юный осел, со своими баснями о том, как он провел неделю в Париже, какое-либо право...

– Нет, – взволнованно перебила его Марсия. – И кроме того, вы очень милый мальчик. Идите сюда и поцелуйте меня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.